Гр. ФЕДОСЕЕВ



Гр. ФЕДОСЕЕВ

ПОСЛЕДНИЙ КОСТЕР

ПОВЕСТЬ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1981

84Р7
Ф 33

Художник *П. Пономаренко*

Федосеев Г. А.

Ф 33 Последний костер: Повесть/Послесл. Г. Колесниковой; Худож. П. Пономаренко. — Переизд. — М.: Мол. гвардия, 1981. — 240 с.

75 коп. 100 000 экз.

Григорий Федосеев — автор известиых иииг «Мы идем по Восточиому Саяиу», «В тисиах Джугдыра», «Тропою испытаиий», «Смерть меия подождет», «Злой дух Ямбуя». Повесть «Последиий иостер» рассиазывает об удивнтельной жизни и трагичесиой смерти героя кииг Г. Федосеева — его постояииого спутиика и проводиииа — эвеииа Улукитиаиа. Действие повести происходит в Восточиой Сибири в 50-х годах. Издаиие рассчитаио иа массового читателя.

Ф $\frac{70302-056}{078(02)-81}$ 163—81. 4702010200

ББК 84Р7
Р2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ





НА ПОДНЕБЕСНОЙ ВЕРШИНЕ

Был конец сентября.

Поседели грозные макушки гор. Укротили свой бег ручейки. Смолкли птицы, и с мокрых камней уже не сходил хрусткий ледок.

Тайга, сбросив красочный наряд, стояла суровая, погруженная в неразгаданные думы.

Все чаще мирное небо мутили мятежные тучи — вестники надвигающихся холодов.

Я только что вернулся с «поля» — из глубоких безлюдных мест сурового Приохотского края. За шесть месяцев скитаний по тайге я отвык от жилья, от пружинной кровати, от комнатной духоты, от всяких распорядков дня, а главное — от работы за столом. Одичал. Но как и в прошлые годы, возвращаясь в «жилуху», в таежный городок на Зее, я предвкушал ожидавшие меня радушие и гостеприимство старенькой Акимовны,

моей квартирной хозяйки. У нее в ветхой избе я снимал горницу, в ней прожил много зим, не зная забот, как «у Христа за пазухой». Я знал, что ждет она меня с первых дней заморозков, с материнской тревогой бросается к оконцу, заслышав скрип калитки, или к дверям — на шорох у порожка. Одинокая, давно потерявшая мужа и детей, она принимала меня как сына. Так было и в этот раз.

Первый день я просто привыкаю к комнате, к обстановке, привожу себя в порядок. Надо непременно постричься, сходить в баню. Вечером, при свете лампы, кое-что записать в дневник, последние дни я совсем его не открывал.

Снимаю с себя походную одежду, изрядно потрепанную, в латках, пахнущую дымом кедровых костров, болотами, заплесневевшими ущельями, глухими таежными дебрями. Акимовна свертывает мою одежду в тугой узел, выносит в кладовую — и сразу будто не было холодных ночей у костра, плавания на резиновой лодке через бурные пороги, звериных троп по кромкам скал.

— Ты, поди, и не заметил — изба-то без тебя покосилась, валится на глухую стену. Подпереть бы ее столбом, она бы еще подюжила, — говорит старушка, вернувшись в горницу.

— Вот ужо, Акимовна, немножко отогреюсь и стену выпрямлю, заставлю ее еще постоять, — успокаиваю хозяйку.

— Пользы от меня никакой нет, только беспокойство людям. Кто ее, эту старость, выдумал? — И Акимовна, утерев глаза краем фартука, прислонившись плечом к дверному косяку, заботливо и ласково глядит на меня...

Под вечер я отправился в штаб экспедиции. В кабинете главного инженера Кочубиевского на столе — карты, схемы объектов и маршрутов, последние сводки полевиков. Дела в экспедиции идут неважно. Год оказался

тяжелым. Все лето одолевали пожары. Они возникали в конце каждого засушливого периода, главным образом от гроз в лесу или в торфяных пластах марей, окутывая дымом огромные пространства. В этот период ни о какой работе не могло быть и речи. А за пожарами, будто нарочно, от Охотского моря наплывал надолго туман с моросящим дождем. И тогда ручьи, реки, болота, захлебываясь водой, становились непроходимыми ни для людей, ни для оленей. И так весь полевой сезон: то палит, то мочит. Из-за этого пять подразделений экспедиции еще находятся на незавершенных объектах, маются кто в тайге, кто на снежных вершинах или в зыбунах.

Кудесники из метеослужбы предвещают на всю округу большие холода с затяжными буранами. Этого мы все боимся. Человек-то еще как-нибудь выдюжит, пересилит себя, как-то приспособится к холоду, а у инструментов есть температурный режим, и никакие усилия не заставят их работать точно. Мы тайно надеемся, что метеослужба ошибается, это бывает с нею не так уж редко. Но мы все-таки принимаем решение до начала предсказанной непогоды подкрепить действующие подразделения техническим составом и опытными рабочими, заранее намечаем для них маршруты возможного отступления в жилые места.

Все эти объекты находятся от штаба экспедиции, расположенного в городке Зея, на расстоянии многих сотен километров, в таежной глуши. Решаем, что завтра главный инженер Кочубиевский с рабочим вылетит в Удское и попытается посадить У-2 на одну из речных кос на Мае, близ устья речки Нимпи. Дальше пешком они взберутся на главную вершину левобережного хребта, где стоит подразделение. Инженеру Куцему предложено к утру быть готовым вылететь на озеро Токо и оттуда на оленях проследовать к реке Гонам — к нивелировщикам, а затем посетить на устье Ытымжи базисную партию. На завтра же назначен вылет Плоткина —

помощника начальника экспедиции к астрономам, на одну из вершин Станового, чтобы помочь им спуститься с гор в случае, если ожидаемый буран затянется надолго.

Наступили самые горячие — последние дни полевого сезона.

Из штаба расходились по домам поздно.

Иду не торопясь, один. Холодно. Пустынны улицы. Избы стоят нахохлившись, как вороны в непогоду. Из труб валит дым. Прижимаясь к земле, он туманит дорогу. В темноте то справа, то слева лают собаки. Волчьими глазами смотрят в ночь еще не потухшие огни в оконцах, и в свете их видно, как с темного неба падают, порхают белые пушинки снега. Они ложатся на мерзлую землю, но порывы ветра снова подхватывают их, кружат в воздухе. Снежинки щекочут лицо. Первый снег почему-то всегда тревожит мне душу. Мысли невольно улетают туда, где сейчас в горах, на пустынных морях или на побережье бушующего холодного моря наши люди не просто работают, а бьются за жизнь. Сколько новых забот и трудностей принесет им этот первый снежный буран, кто-то из них заблудится в нем, может не найти выхода, не добраться до селения.

Шумит за поселком растревоженный березник. В снежной мгле ничего не видать. Я ускоряю шаги, спешу к теплу. Знаю, не спит, ждет меня Акимовна.

Дамка, наша дворовая собачонка, узнает меня издалека, обрадованно лает. Я всегда держу в кармане какое-нибудь лакомство, ради него она и мерзнет у калитки, поджидая меня. Всякий раз из подворотни выкатывается серый клубок, во весь дух несется ко мне, бросается на грудь. Затем усаживается на задние лапы и ждет угощения. А морда подхалимская, облизывается сухим языком, глаза источают преданность. Я запускаю руку в карман куртки, издевательски долго шарю в нем, пока Дамка нетерпеливо не подает голоса. Она на лету

ловит кусок сахара, он хрустко лопается на ее зубах и нежеваным вмиг проглатывается.

В избе тепло. Акимовна сидит за горячим самоваром, пьет чай. Обрадовалась, встает из-за стола, смахивает фартуком пылинки со скамейки.

— Скучно одной-то? — спрашиваю я, раздеваясь.

— Привычно. Да и скучать не по чем и не по кому. К старости дни, как капли росы, схожи. Никаких радостей. Да и вся-то жизнь смальства прошла в нужде да в горе. А теперь одно утешение — самовар. Разговорчивый он у меня. Вона послушай-ка... — Акимовна не торопясь наливает и пододвигает мне стакан крепкого запашистого чая.

Самовар поет уныло свою нескончаемую песенку. Старушка, подперев ладонью щеку, слушает. Наверное, пенье самовара будит у нее воспоминания о пережитом.

Ночью я долго не мог уснуть. Вспомнил своего проводника Улукиткана, с кем делил тепло костра, голод и сытую пищу, пургу и долгие походы в течение последних шести лет. С ним я расстался два месяца назад, в надежде еще непременно встретиться до моего окончательного отъезда из этих мест. Но пока встречи не получилось. Старик добровольно ушел на розыски затерявшегося где-то между Гыным и Юнамом, в самой глуши Алданского нагорья, нашего строительного подразделения. Найденных им людей давно вывезли самолетом. А он, бедняга, все еще где-то мается в обратном пути на оленях.

Вероятно, это тоже его последний маршрут в нашей экспедиции, а может быть, и последний в его жизни подвиг. Ведь ему уже девятый десяток.

Давно бы пора ему прибыть на базу партии, а его все нет. Не заболел ли в пути? Может, оленей растерял, осенью животные жадны до грибов, уходят ночью далеко от стоянки. Да мало ли что может случиться в тайге с человеком, которому перевалило за восемьдесят. Вот и

болит сердце за старика. Зря отпустили одного, да ведь его не отговоришь, особенно когда надо кому-то помочь, — чужое горе он считает своим, так уж привык жить.

Всю ночь надоедливо хлопала одна из старых ставней. Гулко шумели деревья в ночной буре.

Перед рассветом отправляюсь в штаб. Поселок уже пробудился. В морозном воздухе отчетливо звучат собачий лай, хлопанье дверей, скрип снега под ногами.

В штабе экспедиции меня поджидало несколько радиограмм от начальников партий. Ночной снегопад породил у всех полевиков тревогу. На наше счастье, буран не задержался, ушел в глубь материка. Я вижу в окно, как из-за пологих заречных хребтов торжественно поднимается солнце, окропляя золотым светом деревья, крыши изб, сугробы. День обещал быть ясным, безветренным.

Один из начальников партий в своей радиограмме сообщил: «Улукиткан вернулся на базу. Здоров. Просится домой. У меня возражений нет. Сипотенко».

Я почувствовал, что не могу ехать, не повидавшись со стариком, не обняв его на прощание, не выслушав его мудрых напутственных слов. Со щемящей болью подумал я, что, наверное, уже не бывать мне больше в этих суровых нагорьях, не бродить по здешней тайге, не купаться в ледяных потоках, не скрадывать снежных баранов. И неодолимо захотелось вернуться туда, взобраться на одну из вершин великого водораздела, еще раз с орлиной высоты взглянуть на безбрежное царство тайги и болот, комариного гуда и птичьего многоголосья, где шесть лет и зим скитались мы с Улукитканом, где я оставлял часть себя, своей жизни. Мне захотелось поклониться могилам погибших товарищей, кому не суждено было вернуться с нами из этих безлюдных мест. Их много. Они спят на Шантарских островах, на Селиткане, под гольцами Сага и Ямбуй, на безымянных

холмах Алданского нагорья. Но они увековечили себя в славе советских геодезистов и топографов и на необъятной карте Родины, нанося на нее дотоле не изведанные и не меренные пространства нашей земли...

Я уже не мог освободиться от желания повидаться с Улукитканом, еще раз увидеть край, ставший мне за эти шесть лет навсегда родным.

Через час все было обговорено: с давним спутником Василием Николаевичем Мищенко я лечу на вертолете к астрономам вместо Плоткина и там, где Утукская тропа, идущая с озера Токо в Зейское покати, пересекает Становой хребет, дождусь старика. Это единственная тропа, по которой Улукиткан может вернуться на свое стойбище. Чуть раньше нас вылетит в Удское и далее на реку Мая главный инженер Кочубиевский. Инженер Михаил Михайлович Куцый уже отбыл на озеро Токо.

Наши топографы, узнав, что я встречусь со знаменитым проводником, подсунули мне выкопировки с листов будущей карты с просьбой к Улукиткану просмотреть и уточнить названия рек, озер, урочищ южного края Алданского нагорья. Улукиткан единственный человек, кто досконально знает все это и бережно хранит в своей памяти.

По рации вызываю Улукиткана к микрофону. Говорю медленно, раздельно:

— Рад твоему возвращению. Можешь ехать домой. Я хочу вылететь на Утукский перевал, чтобы встретиться с тобою и попрощаться. Когда ты будешь там?

— Зачем прощаться, — слышу его кроткий голос. — Может, еще раз наши тропы сойдутся... Мне надо маломало чинить обутки, штаны, надо оленям один день отдыхать. Однако, на перевале буду завтра на закате солнца.

На том и порешили. Я попросил начальника партии выдать старику зимнюю спецовку, хотя знаю, что он все равно ее не наденет, спрячет в потках и кому-нибудь

подарит на стойбище, а сам будет мерзнуть в своей старенькой дошке и латаных олочках.

В штабе экспедиции людно. Вернувшиеся с «поля» подразделения сдают материалы, снаряжение. Много восторженных встреч, смеха. Кто-то с утра уже приложился к стограммовой стопке и теперь, распахнув свою истосковавшуюся по людям душу, обнимается со всеми.

У меня в кабинете последнее совещание. Еще раз проверяем, все ли предусмотрено на случай затяжных буранов, обеспечены ли маршруты задержавшихся в поле подразделений всем необходимым.

Домой пришел рано.

— Акимовна, доставай-ка из кладовой мою одежонку, завтра улетаю в горы, — заявил я, входя в избу.

Старушка удрученно всплеснула руками:

— Господь с тобою, не успел отогреться, опять в тайгу. Надолго?

— Думаю, не задержусь. К воскресенью вернусь, если будут гречаные блины.

— О чем разговор, блины хоть сегодня. Да разве в этом дело, — ворчливо увещевала Акимовна. — Ведь того и гляди завьюжит, а человек не волен над бураном, долго ли с бедой столкнуться...

— Ничего не случится, Акимовна, я же там буду не впервой. А насчет блинов говорю серьезно — в воскресенье.

— Да ну тебя с блинами... — И, махнув сердито рукой, она отправилась в кладовую за моей походной амуницией.

Василий Николаевич Мищенко, с которым мы завтра рано утром отправимся в горы, мой давнишний спутник и однокашник. Более пятнадцати лет мы с ним неразлучны в тайге. Встретились в 1938 году, когда я занимался исследованием Центральной части Восточного Саяна, и с тех пор делим пополам радости и невзгоды скитальческой жизни. Я знаю, что и для этой поездки Василий

Николаевич все подготовит, как надо, и утром явится ко мне в полном снаряжении.

Поздно ночью ко мне пришел Плоткин, сообщил, что Кочубиевский высадился на Мае в двух километрах выше устья Нимни и что Куцый завтра выходит на оленях с озера Токо к Гонаму. Теперь бы с неделю погоды, только с неделю, и наша экспедиция полностью завершит все свои работы. С этими мыслями я уснул.

...Пробудился рано. Оделся, вышел на улицу. Еще темно. Крепко морозит. Седой туман окутал заиндевевшие избы, сникшие деревья, лег на землю. В застывшей мгле чуть светится дрожащий в соседней избе тусклый огонек. Где-то за рекой басом лает старый пес.

Акимовна рано затопила печь, чем-то очень вкусным пахнет из кухни. Я упаковываю свои вещи. А вот и Василий Николаевич. Как всегда за полтора десятилетия наших скитаний, у него уже все в полной готовности. Садимся завтракать.

— Ох, не к добру вы затеяли эту поездку, — бурчит Акимовна, — вечером передавали по радио, что ожидается буран. Переждали бы его дома, в тепле.

— У нас нет времени пережидать. Того и гляди в зиму завьюжит, хуже будет, — отвечает Василий Николаевич, принимаясь за горячую шанежку.

Позавтракав, выходим на улицу. Пора бы ехать на аэродром, но кругом такой туман, что нечего и думать о быстром вылете. Темень казалась нескончаемой, затаившейся на всем пустынном пространстве. Вдруг где-то в серой мгле лениво кукарекнул петух. Проскрипели чьи-то шаги по дороге. Дамка, зевая, вылезла из конуры, потянулась. По ее настроению, по веселым глазам можно предположить, что она, шельма, чует хорошую погоду.

В восемь часов пришла за нами машина.

Туман долго еще висел над аэродромом. Только во

второй половине дня машина получила разрешение подняться в воздух.

Чихнул мотор. Вертолет, как норовистая лошадь, откинул высоко свой хвост и стал набирать высоту. Я гляжу в иллюминатор. Над нами чистое и удивительно прозрачное небо, какое бывает после первого снегопада. Внизу глубокие распадки, ущелья, ложки, морщинистое лицо земли. Наплывает океан темной, бескрайней тайги, местами разреженной буреломом, в серых латках старых гарей, с четко выкроенными озерами, с витиеватыми прожилками речек. По заснеженной земле легко скользит синяя тень вертолета. А за лесами поднимаются пологие гряды заснеженных гор. За ними зыбкие дали Станового, пленившие пытливое воображение своей таинственностью и недоступностью.

Летим прямым курсом к Утукскому перевалу. Залитый солнцем Становой все отчетливее вырисовывается синими хребтами, конусами безымянных вершин, заслоняя небо.

За первыми грядами отрогов поднялись крутые откосы главного хребта, хаос скал и ломаная линия главного водораздела. Вертолет обходит цирк слева, падает в перевальную щель и не торопясь, осторожно пролетает ее руслом. Все дно щели хорошо просматривается. Мы ищем глазами дымок костра, палатку, пасущихся оленей. Но, увы, никого нигде не видно. Значит, Улукиткан еще не успел достичь перевала.

Под нами — главное русло пенистого Утука меж черных скал. И тут, видимо, нет Улукиткана. Он бы, услышав гул мотора, дал о себе знать. Но ни дыма костра, ни палатки и здесь не видно. Только остроглавые скалы-останцы безмолвно следят за нами из лесных чащ.

Поворачиваем назад к перевалу. Мы с Василием Николаевичем не отрываемся от иллюминаторов. Стараемся ничего не пропустить на земле. Почему старик не при-

ехал? Ведь он обещал быть на перевале еще вчера вечером.

Приземляемся на краю перевальной седловины, в том месте, где оленья тропа выходит сюда из Утукского ущелья. Пока я наскоро развожу костер и готовлю чай, летчики помогают Василию Николаевичу поставить палатку и разобрать груз. Они с удовольствием остались бы с нами здесь поохотиться, но должны вернуться на базу.

День теплый, по-осеннему мягкий и тихий. Нависающие над седловиной древние скалы греют на солнце свои каменные бедра. В вечереющей синеве дремлют многовековые вершины отрогов. В воздухе густой стланиковый настой. Он настолько чист, настолько приятен, что кажется, не дышишь, а пьешь его.

До гольца, где находятся наши астрономы, совсем недалеко, часа три хода пешком. Не знаю, что делать: дождаться Улукиткана и завтра подняться к астрономам или, не откладывая, сделать это сегодня?

— Улукиткан, видимо, сегодня не придет, отправлюська к ребятам на голец, — говорю я. — Тут, на седловине, без старика делать нечего. Что ты посоветуешь, Василий?

— Резонно и еще потому, что завтра надо будет топать туда пешком, а сегодня за десять минут могут доставить на вертолете, — он вопросительно смотрит на летчиков.

— За нами дело не станет, можем залететь, — отвечают пилоты.

— Нынче у астрономов ночь будет жаркая, ишь как вычистило небо, — замечает Мищенко, оглядев синеву над горами.

Я беру легкий спальный мешок, укладываю его в рюкзак. Прощаюсь с Василием Николаевичем, обещаю завтра рано вернуться.

Мы снова над хребтом. Слева Алданское нагорье,

впаянное в мглистую синеву безбрежного пространства. Оно для меня — прошлое. Вряд ли когда-нибудь судьба занесет меня в этот суровый край.

Справа и слева высятся вершины, без зелени, без жизни — тупые каменные боги. Из-за них как-то неожиданно показался богатырь-голец. Он крут, опоясан багровыми скалами. Его вершина заснежена только с северной стороны, отчего голец будто в белой папахе, лихо сдвинутой на затылок, с белыми эполетами на плечах. Он господствует над обширной округой, виден издалека, со всех сторон. К нему наш путь.

Голец — центральная вершина Станового — великого северного водораздела. Под ним чернеют цирки — гранитные пасти. Из них берут свое начало многие речки.

Чем ближе мы подлетаем, тем выше поднимается голец над темными пропастями, окруженными почти отвесными скалами. Неожиданно почти под самой папахой гольца появляется сигнальный дымок, явно предназначенный для нас. Мы приближаемся. Видим палатку на крошечной террасе, почти на самой макушке гольца. А вот и люди. Они неистово машут нам руками, наверное, кричат, хотя еще не уверены, что машина идет к ним.

Вертолет сбавляет скорость, повисает над гольцом парящей птицей, осторожно снижается, несколько раз ощупывает колесами россыпь и наконец приземляется.

Ко мне по откосу бежит помощница астронома Аля. В ее движениях, во взгляде — порыв истосковавшейся по людям души. Я подхватываю ее, прижимаю к груди.

— Как это вас угораздило сюда? — спрашивает девушка, радостно оглядывая нас, подает поочередно всем свою крошечную руку.

— За вами. Живо собирайтесь!

На ее обветренный лоб набегают морщинки, взгляд гаснет. Она отрицательно качает головой.

— Рады бы в рай, да грехи не пускают... Нам бы еще одну ночку вымолить у Мусонина *.

— У тебя было достаточно времени околдовать его своими женскими чарами.

— Не получается. Перезабыла, как что делается.

К нам спускается Иван Иванович Тишкин — астроном. Сухощавый и беспорядочно волосатый человек.

— Не вздумайте улететь. Деликатесов у нас нет, но чаем угостим, отменным, с душистым рододендроном. Такой чай бывает только у нас, на этой бешеной высоте. Айда в палатку, — и он, подойдя к нам, обнимает всех.

— Спасибо, но у нас нет времени для чаепития, — командир вертолета смотрит на низкое солнце. — В следующий раз не откажемся.

Я достаю из вертолета спальный мешок, рюкзак, «маузер». Мы прощаемся с экипажем. Вертолет через минуту скрывается за скалистой грядой.

— Значит, нашего полку прибыло, — говорит Тишкин, закидывая на спину мой спальный мешок и направляясь к палатке. — Мы с Алей оказались невезучими. Каждую ночь туман, ничего не видно, а позавчера такая дура мела, завалило снегом палатку. Спасибо, утром пришли снизу каюр и рабочий с дровами, отрыли нас и отогрели. Мы уж на всякий случай вон на той скале, — он указал рукой вправо, — сделали надпись: «Здесь в сентябре 1953 года замерзли астрономы Вагина и Тишкин». Я думаю, пусть остается. На всякий случай.

— Утром сотрете. Видишь, небо-то какое чистое! — заметил я.

— Видели мы и такое небо, да что толку. К ночи может все измениться. Откуда только и берется. На этой высоте свои законы, — сказал Тишкин.

В палатке астрономов уютно, тепло, на всем лежит

* Мусонин — дух гор.

печать заботливой женской руки. Каждому предмету свое место. Пол выстлан свежим ягелем.

На низком столе, сложенном из каменных плит, стоит среди бумаг букет темно-фиолетовых лютиков, самых поздних цветов альпийских лугов Станового.

Достаточно было войти в это жилье, чтоб почувствовать себя далеко-далеко от суровых гор, от скал под тобою, от тревог. Здесь было все или делалось все, чтобы смягчить жестокое одиночество полевика, чтобы не одичать и облегчить работу. Нежный аромат рододендрона, распаренного в чае, дополнял уют отшельников.

— Я, кажется, начинаю понимать, почему вы так затянули астроопределения — неохота расставаться с таким роскошным бытом.

— Все отдам, не пожалею, буйну голову отдам, — в тон мне поет Иван Иванович, разливая по кружкам чай.

Я достаю из рюкзака сладости для Али, и мы присаживаемся к «столу» по-восточному, прямо на пол. Лицо у Ивана Ивановича вдруг нахмурилось.

— Нам нужна ночь, только одна ночь, и из-за этого мы сидим на гольце семнадцать суток. Зарубки уже негде делать на стойке потерянным дням, — говорил он надтреснутым голосом.

— Сегодня небо чистое, тихо, может, повезет.

— Иначе, ей-богу, сойдешь с ума от этого роскошного быта и чудесного горного пейзажа, век бы не видел его. Гуси, журавли пролетели — как увидишь стаю, еще пуще тоска разбирает. Улететь бы с ними... Я больше не еду в «поле». Хватит. Только бы закончить работу.

— Много раз ты, милый человек, говорил мне эти слова, а весной придешь и будешь слезно молить: возьмите, дышать в городе нечем, места не нахожу от шума, не сплю. Знакомы тебе эти слова?

— Уж на этот раз не приду. Амба!

Сквозь полотняную стену сочился темно-багровый закат. Иван Иванович допил чай, встал.

— Пора! — сказал он, ни к кому не обращаясь, и стал одеваться.

— Ты, Аля, оставайся в палатке, поспи, а я заменю тебя, — говорю помощнице астронома.

— Ни за что, — протестует она. — Уж какой тут сон, если хорошая ночь будет.

Мы поднимаемся на вершину гольца. Она всего метрах в ста. Впереди Иван Иванович. Слышно, как твердо шагает он по россыпи, идет напрямик по невидимой глазу, но знакомой ногам тропке. На макушку он выходит по гигантским, давно развалившимся каменным ступенькам.

На вершине стоит бетонный тур для астроопределений. Рядом, под брезентом, универсал, размещенный в двух ящиках, элементы, теодолит, какие-то свертки. Все это лежит нераспакованным с тех пор, как начались в горах туманы. Тут в ожидании чистого неба не одну ночь провели астрономы.

Вечерние холодные тени урезали края бездонных пропастей. Сглаживались контуры вершин. Тускнела земля. Солнце, миновав полоску багряных туч, как бы задержалось, свалившись на синие горы. Оно виднелось четким красным кругом и не вызывало беспокойства. Но астроном невесело сказал:

— Вот видите, как будто все за нас: и закат, и небо, и тишь, а в воздухе тяжесть, нет той легкости, какая бывает при хорошей погоде. Вы чувствуете? — Тишкин тронул меня за плечо.

— Ты просто напуган, я тебе сочувствую. Но ведь на небе — ни одного облачка. Что еще надо астрономам?

— Чтобы все это сохранилось на ночь. — И Тишкин стал готовиться к работе.

Я помог ему установить на туре тяжелый универсал. Пока астроном налаживал его, пришла Аля. В черном полушубке, с засученными рукавами, в валенках и шапке, она похожа на маленького мужичка. Девушка пытливо осмотрела небо, глянула на темнеющие в дымке горы, улыбнулась, видимо, довольная обстановкой.

Звезд еще не видно. Надо подождать. Мы усаживаемся на камнях у края обрыва, молча любуемся вечерним пейзажем.

— Там, за горизонтом, — Аля показывает на запад, — есть города, песни, кино, интересные встречи. Как далека от нас эта жизнь и как дорога. Может быть, именно в том и счастье, что тоскуешь по ней, мечтаешь о ней.

Ей никто не ответил.

— Бараны, — таинственно шепчет Тишкин, толкая меня в бок.

Я смотрю вниз, куда он показывает рукой и куда сбегает острый гребень гольца. Вижу, на седловине появляется стадо снежных баранов. Россыпь гремит под их копытами, бараны торопятся к южному склону хребта и исчезают за изломом.

— Кто бы мог их спугнуть? — Аля вопросительно посмотрела на меня.

Я ничего не мог ей сказать. Здесь многое было необъяснимо.

Вот снизу налетел ветерок и неожиданно окатил нас снежной пылью. Откуда бы ему взяться, если кругом тихо и над горами реет ничем не колебимый вечерний сумрак?

— Вот вам первая ласточка. Все идет как по расписанию, — зло сказал Тишкин.

Еще две-три минуты, и потух закат. Тьма поглотила грани откосов. Вот и вершины гор растворились в темноте. Пришла ночь. Она бесшумно выползла из ущелий и повисла над нами, глухая, неподвижная.

— Начнем, пожалуй, — Иван Иванович уже стоял у инструмента.

Будто только и ждал этой минуты, подул ветерок. Аля, сидевшая на ящике возле тура, поспешно закуталась в полушубок и, повернувшись спиной к ветру, стала записывать в журнал отсчеты.

— Вот подул, это уж верная примета к непогоде, — не отрываясь от инструмента, заметил Иван Иванович.

Он натянул на голову капюшон штурмовки и, отогревая дыханием застывшие у холодного инструмента пальцы, нацелив объектив в мягкую темень звездного неба, продолжал работать. А ветер усиливался. От края снежного надува потекла в ночное пространство поземка. Колючий холодок пронизывал все тело.

Горы под нами тревожно и глухо гудели. Ветер уже в гневе падал на вершину гольца, рылся в камнях, окатывал нас своим ледяным дыханием. Он шел от Полярной звезды через Алданское нагорье упругими волнами, налетавшими на нас со всех сторон. Ох, как трудно было бороться с ним, как тонка стала моя меховая куртка, как быстро холод охватил все тело от головы до ног. Я поворачиваюсь лицом к ветру.

— Хватит, я больше не могу! — кричит Иван Иванович, засовывая руки под штурмовку и приплясывая возле тура. — Аля, беги в палатку, разжигай печь, а мы уберем инструмент и тоже придем.

Аля поднялась. С отчаянием посмотрела в небо, видимо, ей не хотелось прерывать работу, столько же ждали этой ночи! Но и оставаться здесь уже опасно. И она чуть не ползком отправилась вниз.

Мы едва удерживаемся на ногах. Укладываем универсал в ящик, накрываем брезентом, заваливаем камнями. Из-под левой скалы раздается нарастающий гул. Где-то обвал. Чудовищный грохот потрясает скалы.

Спешим вниз. Тишкин поймал меня за рукав.

— Теперь вы убедились, что горные духи живут не

только в легендах! — вскричал он, съежившись от холода.

— Признаться, впервые вижу, чтобы при ясном небе такая чертовщина дула.

Я снова смотрю на небо. Проветренное, оно кажется еще более льдистым, прозрачным и каким-то совсем доступным. В эту ночь, казалось, можно было невооруженным глазом разглядеть всю глубину вселенной. А нам приходится отступать.

По палатке плещет ветер. Он хищно ощупывает ее со всех сторон, подкрадывается снизу, норовит сорвать ее. Мы с Иваном Ивановичем заваливаем камнями борта палатки, потуже притягиваем трубу к стойке, чтобы не гремела. И без нее тоскливо на душе. Все-таки какое счастье иметь приют в такую непогоду!

Мы отгорожены от ветра полотняной стеной, но не можем никуда деться от проклятого гула бури и грохота падающих камней. Кажется, будто горы со всех сторон рушатся прямо на нас.

— Товарищи, а ведь дров на ночь не хватит, — Аля грустно глянула на Тишкина.

— Я уже думаю об этом, — и он смотрит на меня долгим испытующим взглядом. — Вы очень устали?

— Идти за дровами?

— Нет. Давайте выложим из камней стену возле тура, отгородимся от ветра и тогда попробуем наблюдать.

Аля смотрит на него, не может понять, насколько серьезно его предложение. А мне мысль нравится.

— Ты, Аля, останешься в палатке, — продолжал астроном, — забирайся в спальный мешок и поддерживай в печке маленький огонек, на это дров хватит до утра. Мы же через каждый час или полтора будем забегать к тебе погреться, если, конечно, не... — Иван Иванович не заканчивает фразу, поворачивается ко мне. — Я говорю это и от вашего имени?

— Конечно.

— Вы с ума сошли, — протестует Аля. — Выложить стену на таком ветру. Это же безумство!

— И все-таки почетнее, чем сложа руки мерзнуть в палатке, — пытаюсь успокоить ее.

Ветер давит на палатку, будто подпирает сбоку плечом, тужится изо всех сил спихнуть ее в пропасть вместе с нами. Дикая природа, видимо, серьезно решила напоследок свести с астрономами счеты. В ее распоряжении много проверенных средств доказать человеку, что он смертен, ничтожен перед ее могуществом. Как никогда, мы это чувствуем сейчас.

Надеваем на себя все, что можно. Выбираемся из палатки.

Ураганный ветер с ожесточением набрасывается на нас, хлещет колючим полотнищем по лицу, слепит глаза. Мы лезем напрямик, подставляя стуже то одно, то другое плечо. Тишкин злится, плюет в морду ветру и, цепко хватаясь за выступы, упрямо взбирается на каменную высоту.

Ветер неизменно дует с севера. Здесь на вершине ему все открыто, доступно. Тут он всесильный жестокий бог. Только поддайся соблазну, присядь, и он расправится с тобой, как ястреб с птахой.

Мы начинаем линию стены строго перпендикулярно направлению ветра. Укладываем камни. Хорошо, что они рядом под макушкой гольца и их сколько угодно.

Работаем долго, молча, стараясь держаться к ветру спиной. Но и это не помогает. До чего же он лют и безжалостен!

Вижу, как ветер шатает Тишкина, как неуверенны его шаги, как почернело его лицо. Да и я выбиваюсь из сил. А стена еще не совсем закончена. Но дальше оставаться наверху невозможно. Мы оба, как по команде, бросаемся вниз. Иван Иванович впереди. Ему привычен этот крутой, каменистый спуск. Я тороплюсь за ним,

кажется, что проваливаюсь в пустоту, чертыхаюсь и отстаю.

Палатка, уже обозначившаяся за последним поворотом белым пятном у края черного провала, кажется каким-то привидением, удаляющимся от меня. В адском холоде теряется связь с реальностью.

Я хочу окликнуть Тишкина, но ветер вталкивает мой хриплый голос обратно в глотку.

Аля не спит, ждет, гадает — вернемся мы или нет. Услышав стук камней, скатывающихся из-под наших ног, она распахивает вход в палатку. Самим нам это ни за что бы не сделать. Мы вваливаемся внутрь закоченевшие, потерявшие дар речи. Девушка бросает охапку сушняка в печь, где дотлевают грудки жара, и начинает раздевать нас. Оттирает нам отмороженные щеки, дышит на пальцы, мнет их, заставляет нас двигаться. Мы неповоротливы, как тюлени. Все еще не можем освободиться от ощущения внутреннего холода. Однако понемногу жизнь снова берет верх над смертной стужей. И вой ветра за стенами палатки теперь кажется нам убаюкивающей музыкой.

— Ну и чего вы добились? — спрашивает Аля, дождавшись, когда мы окончательно пришли в себя.

— Не стена, крепость, — хвастает Тишкин. — Такую под силу воздвигнуть разве только рабам в древние времена. Так что готовься, будем наблюдать.

— Я готова на любые муки, лишь бы покончить с этим гольцом, — говорит храбро Аля, наливая нам чаю и разламывая пахучую лепешку.

Тепло и горячий чай навевают сон. Отяжелела натруженная спина, окаменели ноги. Хочется прилечь, забыться. Видимо, то же происходит и с Тишкиным. Аля замечает наше состояние и по доброте своей дает нам уснуть, наверное, всего несколько минут. Но понимая, что мы после будем корить за это, начинает нас трясти.

— Подъем! — кричит она звонко.

Я поднимаю отяжелевшую голову. Ох, как неохота вставать, выходить опять на бешеный ветер. Смотрю на часы: второй час ночи. Протирает глаза Тишкин. Мы все трое молча одеваемся. Гасим коптилку. Вылезаем из палатки.

По черному небу выстлался запорошенный след Млечного Пути. Промерзшие звезды дрожат в глубине бездонного пространства. Ветер бушует, по-прежнему перехватывает дыхание, бросает в лицо колючий снег.

Я несу Алин спальный мешок и тент. Она идет за Тишкиным, одной рукой держится за его пояс, другой прикрывает от ветра лицо. Горы гудят, как океанский прибой. Жуткая ночь. Ничто живое, кажется, не способно сопротивляться этой безудержной стихии.

— Может, вернемся?! — кричит Аля.

Но Тишкин продолжает шагать вперед, и девушка покорно идет за ним. Я как-то по-хорошему завидую воле, упрямству астронома.

Вот и вершина. Под защитой сложенной нами стены мы сразу беремся за дело. Астроном устанавливает на туре инструмент, а я заканчиваю кладку стены. Потом мы с Тишкиным натягиваем тент вдоль стены с наружной стороны, укрепляем его, и теперь внутри этого сооружения — полное затишье, не так пробирает стужа. Можно работать.

Аля в валенках забирается в спальный мешок. Я перехватываю ее у пояса веревкой, усаживаю на ящик, кладу ей на согнутые в коленках ноги журнал. Шестивольтовая лампочка освещает ее рабочее место.

Астрономы полны решимости взять полностью ночь, завершить наблюдения. Уже четыре часа, но до рассвета еще много времени. Ветер к утру становится еще более едким, делает свое дело. Все тише, все медленнее Иван Иванович диктует отсчеты, и все чаще дует на свои маленькие руки его помощница. Иногда я под-

саживаюсь к ней, растираю ее посиневшие пальцы, отогреваю их, и она продолжает работать.

Более трех часов идет отчаянная борьба на пустынной вершине гольца.

У меня больше возможностей заниматься собою, чем у астрономов, но и я уже изнемогаю. От заледеневшей скалы тянет такой промозглой стужей, что коченеет все тело, нет сил сопротивляться. Тишкин продолжает поворачивать инструмент, крутить винты, при этом пританцовывает, бьет руками себя по бедрам. Он торопится — с севера наплывают тучи. Они заволакивают небо, вот-вот достигнут зенита, и тогда придется прекратить работу.

— Ради бога, не спеши, я не успеваю, — умоляет Аля и роняет авторучку из окоченевших пальцев.

— Уж ты как-нибудь запиши еще этот прием или запомни, — ласково просит Иван Иванович.

Я хочу помочь Але, а она тихо всхлипывает, прижимая ладони к лицу.

— Все, все, конец, не буду! — видя это, кричит Тишкин и отступает от инструмента.

Мы подсаживаемся к Але, оттираем ей руки, лицо, потом катаем ее по земле в спальном мешке. Это немного согревает девушку. Снимаем с тура инструмент, укладываем в ящик, накрываем брезентом. И все трое бежим вниз, в палатку. Только там спасение.

Тишкин впереди. За ним с трудом поспевает Аля. Я придерживаю ее сзади за воротник полушубка. На шатких или скользких камнях ноги подламываются. Не упасть бы. Страшно от одной этой мысли. Не уверен, что поднимусь. А спуск кажется бесконечным. Что-то не видно приметных проходов, камней. Все мы это замечаем, но идем. Кажется, мы сбились с тропы.

Внезапный, огромной силы шквал ветра потрясает горы. Невольно вспоминаю эвенкийскую легенду — это не ветер, а горные духи вышли на охоту, гонятся за

жертвой. От их воя падают со скал дикие бараны, цепенеют в полете орлы, от их метких стрел спасения нет никому. Беда и запоздавшему путнику, духи затуманят ему глаза, уведут в сторону с пути и начнут потешаться... Мне кажется, что нечто подобное совершается с нами. Мы действительно что-то слишком долго спускаемся в бездонную пропасть темноты.

Из-под ног Тишкина срывается камень, летит куда-то вниз, в пустоту. Мы останавливаемся. Кругом и вправо и влево, вверху и внизу — мрак. Откуда взялся на пути этот обрыв?

— Давайте куда хотите, только бы не стоять на месте, я замерзаю. — Голос Али полон такой мольбы, что ясно — ей совсем невмоготу.

Невероятным напряжением воли сбрасываю с себя оцепенение, хватаю Тишкина за рукав и поворачиваю его назад.

— Назад! — во все горло кричу я. — Наверх!

Только бы добраться до вершины, там найдется и тропа. Это единственный выход из положения. Почти на ощупь пытаюсь идти вверх. Слышу нечленораздельный крик Али. Наверное, что-то случилось. Но нет времени разбираться. Поворачиваюсь, хватаю ее за полушубок, тащу за собой. Другой рукой защищаю лицо от ветра.

Шаги чем дальше и выше, все труднее. Может быть, наступает мучительный конец всем земным делам, радостям и страданиям? Последние минуты бытия.

— Стойте, тропа! — кричит откуда-то слева Тишкин. — Вон она, под ногами.

Мы идем на его голос. Тишкин идет вперед.

Бредем, как во сне. Аля соскальзывает с камня, падает на россыпь, вскрикивает от боли. Мы помогаем ей встать, но видим, что она сама идти не может — сильно ушибла ногу.

— Пошли, пошли! — командует строгим голосом Иван Иванович, поддерживая Алю за воротник полушубка.

— Больно, не смогу... — девушка готова разрыдаться.

Тишкин действует решительно, толкает девушку вперед, и мы кое-как идем. Делаем последний поворот, обходим знакомую скалу и с облегчением видим белое пятно палатки. Но Тишкин неожиданно останавливается, с губ его срывается невнятное ругательство. Тут и я различаю, что палатка нависает над черной пропастью, вот-вот готова сорваться. В этот миг, наверное, у всех троих возникла страшная мысль: что будет с нами, если мы лишимся этого единственного приюта?! Палатка лежит на россыпи, наполовину вывернутая, хлещут гулко по парусине концы оборванных веревок. Печь свалена, посуда, постели разбросаны. Ветер тужится сорвать палатку с еще уцелевших передних оттяжек.

Хватаем веревки, закоченевшими пальцами связываем с оборванными концами, поднимаем стойки и начинаем крепить оттяжки. Ветер ожесточенно, угрожающе гудит под нами, норовит сбросить нас вместе с палаткой в пропасть. Но уже поздно. Мы снова под защитой полотняных стен. Остается установить печь...

Теперь пусть бесится ветер, пусть свирепствует стужа — мы выдержим, переживем. Мы сидим молча, растираем обмороженные лица, с наслаждением слушаем, как, разгораясь, в печи звонко потрескивают сухие сучья.

— Часа на передышку хватит? — спрашивает меня Иван Иванович. — Отогреемся — и наверх. Всего два приема осталось, может, тучи рассеются.

Аля удивленно и покорно смотрит на нас грустными глазами.

— Ветер угомонится, — продолжает Тишкин, видимо, надеясь этой твердой интонацией рассеять не только наши, но и свои сомнения. Желание во что бы то ни

стало сегодня закончить работу на гольце, кажется, глушит в нем разум.

Мы ждем, когда закипит чайник. Прежде чем идти на голец, надо непременно отогреть нутро кипятком. А пока что я перематываю портянки, снова обуваюсь. Подстилаю под бок спальный мешок — не так холодит снизу. Ноет все уставшее тело. Веки слипаются. Мысли текут сами по себе, никак не управляемые. Думы уводят меня далеко от гольца, в мир буйной зелени и горячего солнца. Но вместе с этим беспокойно шевелятся мысли о свирепом ветре на гольце, с которым снова придется схватиться.

Лежащий рядом Иван Иванович прячет голову под телогрейку; подбирает чуть не к подбородку длинные ноги. Я слышу его приглушенный голос:

— Посмотреть бы теперь «Лебединое озеро»...

— Спите, — как-то по-матерински говорит Аля и накрывает нас одеялом.

Меня разбудил крик, донесшийся откуда-то снизу, точно эхо из глубокого ущелья. Затем послышался приближающийся стук камней под чьими-то торопливыми шагами. За стенками палатки ни ветра, ни гула. Полный покой. Даже не верится. С трудом раскрываю глаза. Лежу в спальном мешке, но не помню, когда забрался в него и как кончилась эти длинная ночь. Да и была ли она? Иван Иванович лежит там, где сидел, согнувшись в три погибели, в теплой штурмовке, в валенках, накрывшись пуховым одеялом. «И твою волюшку, милый человек, сломила усталость», — подумал я.

Он тоже пробудился, пытается выпрямиться, но мешает печь. Аля спит на своем месте, глубоко зарывшись в мешок.

Кто-то у палатки сбросил на камни вязанку сушняка.

— Живые есть? — послышался знакомый голос.

Меня точно подбросила какая-то сила и поставила на ноги. Не ослышался ли? Не может быть! Откуда бы ему, этому человеку, тут взяться?! Распахиваю палатку и столбенею.

— Улукиткан!.. С неба, что ли, свалился?! — Обняв старика, я крепко прижал его к груди. А он еще не мог отдышаться, прийти в себя от крутого подъема. Показался мне совсем стареньким, как эти россыпи, крапленные лишайниками, и очень маленьким. Казалось, прошли годы с тех пор, как мы расстались.

— Это ты, Улукиткан? — послышался голос Али. — Каким ветром тебя занесло сюда? Ночью у нас танцы были, что не приходил?

— Знал бы — пришел. — И уже с явным облегчением продолжал: — Мы с Василием шибко боялись. Тут губодуй, однако, посильней был. Долго ли до беды! Вот и поторопился к вам. Маленько дровишек принес.

Я смотрю на сухонькую фигуру старика, с глубокими следами лямок на плечах, вижу сушняк, принесенный им, представляю себе крутизну подъема.

Иван Иванович выбирается из палатки, сощуренными от утреннего солнца глазами смотрит по сторонам, удивляется:

— А и верно, Улукиткан! — кричит он и долго пожимает ему руку. — Неужели с Утукского поднялся так рано?

— Да, да, с перевала. Раньше бы пришел, да ноги не слушаются, глаза не видят, куда поставить ногу. И голец стал крутой. Старому человеку, видать, все неладно.

— Какой же ты старик, такую вязанку дров на голец втащил! — И Тишкин одной рукой взвесил сушняк.

— Надо бы больше понести, да годы не пускают. Там внизу, под скалой, еще три вьюка дров.

— И за этот не знаю, какую награду тебе выдать. У нас нечем было бы даже чай вскипятить. За ночь не только дрова сожгли, а и всю подстилку.

Улукиткан молча берет кастрюлю, чайник, идет к надуву за снегом.

Под ногами в глухих забоях пропастей еще густой текучий сумрак, а кое-где, прильнув к грудастым скалам, белеет туман. А здесь, наверху, утро. Оно на редкость ясное и мирное. Небо синее-синее, какое бывает после яростных бурь. Воздух резок, как лезвие бритвы, и настолько чист, прозрачен, что дальние вершины кажутся рядом, в пору достать их вытянутой рукой.

Над безднами нависает солнце. Оно по-утреннему свежо и, как всегда, щедро.

Нежным пламенем охватывает склоны гор, вершины на глазах рыжеют, туман трогается к седловинам, прозрачными струями сочится в небо и бесследно пропадает в синеве, где белохвостый орлан кружится, распластав неподвижные крылья.

— Аля, айда сюда, смотри, какая красота! Весь мир в огне — небо, снега, пропасти! — кричит восторженно Тишкин.

Он стоит на краю пропасти, рослый, крепкий, упираясь широко расставленными ногами в землю. Весь облит багрянцем. Нагибаясь, черпает с надува пригоршнями снег и растирает им загорелую грудь.

Из палатки, прихрамывая, выбирается Аля. Зябко кутается в теплую пуховую шаль. Но оглядывает сощуренными от солнца глазами горы, и ее лицо, облитое восходом, озаряется радостью, долгожданной, которая приходит к человеку в награду после тяжелых испытаний. Ночь унесла с собой зло. Мир, как в сказке, был перед нею весь — добрый и ласковый.

— Ух, как здорово! — кричит Аля и бежит навстречу уже возвращающемуся со снегом Улукиткану. Обнимает его, что-то говорит. Он растроган, улыбается, хочет что-то ответить, но Аля не дает ему сказать слова. Вдруг она бросается к краю террасы. На бегу оборачивается,

зовет меня. Мы останавливаемся у огромной каменной глыбы. Она опускается на колени.

— Посмотрите, что с ними сталось... А ведь я их собирала сюда со всего гольца. — Ее голос обиженно дрожит.

Площадка усеяна фиалками. Они росли на ней густыми пучками, покрывая скудную гольцовую почву разноцветным ковром. Но цветы не пережили ночь, погибли. Умирая, они как-то странно переплелись ножками, скучились, будто пытались одним общим усилием противостоять смертоносной стуже.

Аля осторожно берет их тонкими пальцами, укладывает на мясистые листья, поблекшими лепестками к солнцу. Усердно дует на них — пытается оживить. А сама вот-вот заплачет.

Здесь, в поднебесье, на каменных вершинах, ничто не растет. Куда бы ни глянул — камень и только камень, серый, навалом, в виде крупных обломков или россыпей. И ты безмерно радуешься, увидев пучок зелени, растущей под защитою глыб. А цветок, пусть он будет самый невзрачный и совсем неприметный, здесь восхищает тебя, пожалуй, больше, чем в иных местах эдельвейс.

Аля остается с Улукитканом готовить завтрак. Хозяйка полна забот, не знает, чем накормить такую ораву. К тому же утром должны прийти их каюр и рабочий из лагеря, расположенного у подножия гольца. И хотя полевики не очень-то требовательны и разборчивы в пище, все же Але хотелось соблюсти давнишнюю походную традицию — для гостя, лица священного, выставлять все лучшее на стол.

Мы с Тишкиным отправились вниз к скалам, опоясывающим голец, за дровами, доставленными туда на оленях Улукитканом.

Под скалой, куда мы спустились, стояли четыре оленя и лежал ворох стланиковых дров. Только Улукиткан мог сделать такое.

Иван Иванович помогает мне взвалить на спину сучковатую вязанку дров. Я перехватываю ремешком лямки на груди, пробую, удобно ли лежит груз, — путь нелегкий до вершины. Потом помогаю навьючиться астроному. На подъеме будет жарко. Снимаю шапку, засовываю за пояс. Расстегиваю ворот телогрейки и, опершись на посох обеими руками, оглядываю наш обратный путь — каменистые склоны, барьеры из разрушенных скал, за которыми синеет высокое небо.

— Пошли, — говорит Тишкин и трогается первым.

На плечах килограммов по тридцать неудобного груза. Он торчит копной из-за спины, качается, никак не подладишь к нему шаг, и от этого он кажется во много раз тяжелее. Но что поделаешь. К этому мы все привыкли. Твердо храним одну из заповедей полевика: умей обеспечить себе приют, тепло и пищу. Тогда милостива к тебе и дикая природа, успешней пойдет работа.

Аля угощает нас пшенной кашей.

После завтрака мне надо было просмотреть журналы астрономов и наметить с ними маршрут и срок их возвращения с гольца в «жилуху». Улукиткан выбрался на скальный выступ и, усевшись на нем, долго всматривался куда-то на север. В эту минуту он напомнил мне обескрыленную птицу, отставшую от стаи, предчувствующую свой близкий конец. Да, может, и он тоже сюда больше никогда не попадет.

Теплый день, синее безоблачное небо, отличная видимость обещают астрономам успешное и полное завершение работы. Завтра и они начнут спуск с гольца. Я смотрю на Тишкина и Алю. Они здорово исхудали и устали от ветров и стужи, от постоянной нехватки воды и дров, от несбывающихся упований на коварное небо. Но и без этой палатки, на вершине гольца, без непогожих и бессонных ночей, без пшенной каши и рододендронового чая — без всего этого они, наверное, не мыслят свою жизнь.

Последний раз смотрю на палатку, приютившуюся на краю жуткого провала, на узлы веревочных оттяжек, на скалу, где углем написано шутливо-траурное оповещение астрономов о их несостоявшейся гибели. И в памяти проносятся, как кинокадры, переживания прошлой ночи, вой холодного бурана, работа на гольце, проклятья Ивана Ивановича. Мне как-то даже обидно, что ни он, ни Аля не вспомнили, не заговорили про эти злоключения — это было буднями астрономов.

Пора уходить и нам. Улукиткан уже стоит, готовый в дорогу, с посохом в руке, с котомкой и берданой за плечами. Быстро собираюсь и я. На спине рюкзак со спальным мешком и с однодневным запасом продуктов. Наш с Улукитканом путь к перевалу. Василий Николаевич уже ждет, наверное, проглядел глаза, волнуется.

Попрощавшись с астрономами, трогаемся в путь. Спустившись на край террасы, останавливаемся, машем прощально отшельникам поднебесья, стоящим на грани крутого ската.

Наш путь — на запад, по главной линии водораздела.

Безмолвен мир, суровый, холодный и мрачный, только шорох камней под ногами да глухой гул ветра в ущельях.



СНОВА С УЛУКИТКАНОМ

Идем вниз, все вниз и вниз — по россыпям, узким проходам между скалами, по зубчатым гребням и уступам горных гряд. Солнце то рядом, у левого плеча, то обгоняет нас. Но вот остались позади курумы, безжизненные развалины и голые вершины скал. Мы как-то неожиданно, будто мгновенно, спустились в иной, живой мир, в царство зеленых стлаников.

Здесь и шагается легко, и дышится глубже влажной свежестью, оставшейся на кустарниках и на мхах от ночной росы.

Старик покрикивает на оленей, торопит. Солнце уже впереди нас, низко над вершинами гор. Идем мы с ним в одном — западном — направлении.

Гребень обрывается крутыми откосами. Под ними на дне седловины озеро, окантованное по краям стлаником. Вода в нем невероятной синевы и прозрачности, даже

издали камни на дне можно пересчитать. Легкий ветерок, совсем неощутимый для нас, качает искрящуюся на солнце поверхность озера. Оно кажется осколком драгоценного камня, упавшего с другой планеты.

У спуска задерживаемся. За озером черная скала, вся исполосованная шрамами, следами никогда не прекращающихся зимних обвалов. А кажется, будто какое-то доисторическое чудовище оттачивало на этой скале свои когти. Я внимательно просматриваю ее, ищу проход. Только бы подняться на этот перевал, там близко и до нашего лагеря.

В нашем распоряжении до полной темноты оставалось не более полутора часов. Если поднатужиться, пожалуй, успеем добраться до перевальной седловины. Улукиткан ведет передохнувших оленей, я замыкаю караван.

Обходим скалу, долго и трудно взбираемся по развалинам, заросшим мелкими кустами рододендрона, работая руками и ногами. Кое-как выбираемся наверх. Солнца уже не видно. Но еще светло нежно-сиреневое небо. Ветер откуда-то пригнал небольшое облачко. Оно дозором пронеслось в вышине и растворилось над нами в густой синеве неба. «К чему бы это?» — хотел я спросить у старого проводника, но не стал его задерживать. Улукиткан неутомимо шагал впереди. Впрочем, уже ясно и самому: вслед за облачком, с запада, где рушатся багровые громады заката, плывут, набухая, хаотические нагромождения туч. Они заволакивают небо. С какой болью, наверное, сейчас на гольце встречают их астрономы! Неужели и завтра они останутся там?

По моим расчетам, мы уже должны быть на седловине. Но тут не заметно никаких признаков жилья. Не сгорела ли палатка? Где Василий Николаевич? Я невольно прибавляю шаг. Разряжаю в воздухе карабин. Никакого отзвука.

Ночь. Природа засыпает тихо, покойно. И вдруг сквозь

тьму пробивается яркое пламя костра. И на душе вмиг светлеет.

Идём на огонек. Он то мигает, заслоняется камнями, то вспыхивает, приближается. Я издалека чувствую его бодрящее тепло.

Мы спешим на зов костра, там ждет нас привал, горячий чай и, может быть, долгий ночной разговор с Улукитканом, если его не утомил день. Так уж повелось при наших встречах: он что-нибудь вспомнит из прошлого, откроет мне новую страницу своей жизни. А она полна драматизма, тяжелых лишений, неудач, но и человеческих радостей, счастливых находок.

Черное от туч небо слилось с потемневшим горизонтом. Глаза в такой темноте почти не нужны, идем на ощупь, защищая лицо протянутыми вперед руками.

— Ку-у-й, — слышу наконец недалеко голос Василия Николаевича.

Отвечаю ему. Мы выходим из кустарника. Идем по ягельной поляне, на краю которой костер, палатка. Василий Николаевич бежит навстречу, обрадованно кричит:

— Слава богу, дождался! Весь вечер глаз не спускаю со склона, извелся. Неспроста поговорка: ждать да догонять хуже всего.

Он накрывает на стол. Я помогаю Улукиткану развьючить и отпустить оленей, достаю мыло, полотенце, иду к ручью. Ключевая вода будто смывает с тела усталость, наполняет душу какой-то удивительной легкостью. Пасущиеся олени, людской говор, веселое потрескивание сушняка в костре, приготовление к ужину — все это вознаграждает за долгий и трудный путь. Рассаживаемся, как обычно, на земле и начинаем вечернюю трапезу.

Улукиткан подтаскивает к себе потку, достает из нее свою посуду, сумочки с чаем и сахаром, затвердевшую от

долгого хранения лепешку. Василий Николаевич торжественно выкладывает на стол помидоры, огурцы — изысканнейшие деликатесы в нашем походном быту. Ставит на стол кастрюли с жареными куропатками и грибами. Костер из стланикового сушняка пышет смолистым жаром, хорошо освещает застолье.

После такой прогулки по Становому жареные куропатки — царское блюдо. До чего же вкусно!

Василий Николаевич лезет в свою потку, достает бутылку спирта, ловким взмахом выбивает из нее пробку. Малюсенькие глаза Улукиткана блестят.

— Однако, я недаром ноги маял, шел сюда, — говорит он, кивнув на бутылку. — Пошто сразу же поставил?

— Куда спешить, успеем. — И Василий Николаевич разливает по кружкам огненную влагу.

Я хочу немного отодвинуться от костра, уж больно припекает. Поворачиваюсь и неожиданно замечаю две яркие звериные фары, пристально наблюдающие за нами из темной глубины стлаников. Хватаю горящее полено, но слышу спокойный голос Улукиткана:

— Не надо — это Турген.

Рыжий пес, с опаской поглядывая на нас, приближается, обрадованно ластится к старику.

Улукиткан задумчив.

— Когда шел сюда, думал: может, больше не встретимся. Я вернусь на свое стойбище, старому мало дел остается в тайге, не ходить больше по ней... А ты куда путь потянешь? — видно было, что этот вопрос давно занимал Улукиткана.

— На Таймыр, в тундру.

— Это далеко?

— У Ледовитого океана.

— Ую-ю, — протянул он, и его лицо омрачилось.

Помолчали. Улукиткан расшевелил огонь, поднял дрожащей рукой кружку со спиртом, глянул на Васи-

лия Николаевича, ча меня и заговорил тихим голосом, который лился из самой глубины его существа.

— Много лет назад я пришел к тебе, — он поворачивается в мою сторону, — чтобы показать Ивакский перевал. На перевале ты сказал: «Останься с нами». Я остался. Мы долго ходили по тайге, лазили на большие горы, таскали вьюки через болота, были там, куда люди совсем не ходили. И все-таки мы живыми вернулись назад... Что было плохо — забудь, хорошее носи в сердце. Теперь уедешь, моя душа всегда будет болеть за тебя.

Старик дважды глотнул из кружки, не дыша, запил спирт холодной водой.

Мне хотелось многое сказать старику, хотелось поблагодарить его за все доброе, что он сделал для нас в долгие годы скитаний по земле его предков.

Мы учились у него понимать природу, учились у него человечности, нам хотелось походить на этого человека, не знающего, что такое ложь, лицемерие, слабость!

Спасибо тебе за все, хороший ты мой человек!

Но как мне сказать тебе обо всем этом? Ведь тебе просто непонятно, например, что можно быть и дурным человеком... Я отвечаю на своеобразный тост старика:

— Мы прилетели сюда попрощаться с тобой, Улукиткан. Пусть твой чум, твоя тропа, твое большое сердце не знают лиха. Как бы мне хотелось, чтобы снова наши тропы сошлись в этой короткой жизни.

— Другой в твои годы из чума не вылазил бы, а ты еще проводником ходишь. Живи долго, старина, ты еще нужен людям. За твое здоровье! — присоединяется и Василий Николаевич, выпивает спирт, машет головой, кряхтит.

Старик молчит, чуть прикрыв тяжелые веки. Я смотрю на его морщинистое лицо, освещенное дрожащим све-

том костра, на шишковатые кисти рук, на истрепанную донельзя одежонку.

Ведь Улукиткан едва ли не последний из эвенков, досель не расставшийся с жизнью кочевника. Умрет он, и с ним бесследно исчезнет многое, что хранит его память из жизни этого самого древнего народа Сибири, никогда не имевшего своей письменности, запечатлевшего свою историю и самобытность лишь в сказках да легендах. Поэтому мало мы знаем о своеобразной, многовековой культуре эвенков, об их непримиримости к рабству, о традициях и обычаях.

Хмурые, еле различимые в темноте тучи низко ползут над седловиной. Появляются в воздухе одинокие снежинки.

Улукиткан допил чай, убрал посуду, встал и долго растирал свои худые, усталые ноги. Где-то слева на мысу загремела россыпь, растревожив тишину ночи. Старик отошел от костра, стащил с головы шапку, прислушался. Гул скатывающихся камней стих в глубине провала.

— Однако, снег скоро перестанет, спать будем у костра, — сказал он и стал доставать из вьюка свою постель.

— Ты уверен?

Он бросил постель на землю, взял меня за руку, повел к тому месту, где стоял.

— Слушай, хорошо слушай, сам, без меня догадаешься.

Я напрягаю слух. Над седловиной чуть слышный, сонный лепет ручейка, еле уловимый шелест зеленых стлаников. Да еще слышится, как, срывая нежные ростки ягеля, олени почмокивают губами: по-по-по... Нет, не нахожу я в ночных звуках объяснения прогноза старого эвенка. Смотрю на небо — беспросветная, ничего не говорящая сплошная темень. Старик шутливо толкает меня в бок рукой:

— Я же тебе сколько раз говорил, да ты забыл: когда ночью ключ шумит вверху, значит, дождя или снега не жди. Эта худая туча скоро уйдет, и снег перестанет.

Мне грустно. В последний раз ночую я у костра с этим мудрым старцем. Видимо, это понимает и он. Мы так сроднились за эти годы, стали настолько близкими, необходимыми друг другу, что просто еще не можем представить, как разойдемся навсегда.

Расстилаю спальный мешок рядом с ним, голова к голове. Улукиткан набивает олочи сухой мягкой болотной травой, чтобы утром, не мешкая, обуться. Потом пододвигается к огню и сушит портянки. Вот сидит рядом со мной на оленьей шкуре с поджатыми под себя ногами, маленький, сухонький, почти прозрачный, в изношенной одежде, с иссеченным морщинами лицом.

Вдруг ветер со всего размаха ударил по костру и осыпал нас искристым жаром, огненный вихрь взвился к небу. Улукиткан оторвался от дум, стряхнул с полы горящие угольки, свернул портянки, засунул их в олочи.

— Альгому вспомнил, — вздохнул он. — Там осталось детство и могилы предков, их следы на тропах. А тут, — он кладет ладонь на сердце, — тут боль, что никогда не вернулся к этим родным местам. Птица вон как далеко улетает, но гнезда своего не забывает.

— У тебя еще есть время, побывай на своей родине.

— Никто не знает, что будет завтра. Буду жив, утром обязательно пойду на самый верх перевала, может, с горы увижу Альгому.

— Меня возьмешь с собой? — обрадовался я.

— Альгома тебе — чужое горе, зачем напрасно маять ноги?.. Я пойду наверх один. С горы, наверное, узнаю место, поклонюсь ему. Может, боли в сердце не останется. Старики никогда не думали, что жизнь звенков так

изменится, вот бы сейчас встали, посмотрели, эко удивились бы.

— Ты жалеешь о прошлом? Думаешь, эвенкам хуже оттого, что они перестали кочевать?

Старик поежился, будто я разбередил его больное место.

— Об этом нечего жалеть. О другом думаю. Молодые забывают наши обычаи, нужные людям, которые должны жить. Раньше у эвенка ничего не было только для себя. Еда, ружье, шкуры, снасти — бери, что тебе надо, спрашивать хозяина было не положено. Никто никого не обманывал. Ты сильный — давай больше. Добыл зверя — тащи на стойбище, дели всем поровну. Рыбу поймал — тоже на всех. Только ему за добычу голову зверя и шкуру сверх его доли давали да еще за удачу от всех ему доброе слово говорили. То был правильный закон, закон тайги. Его никогда не должны забывать люди...

— Ты прав, такой закон нужен всем людям. Его создала жизнь, испытанная в течение многих веков, и без него вряд ли кочевники дотянули бы до наших дней.

— У них не было бумаги, букв, чтобы писать слова, все обычаи держали в голове. И школа была другая, которая показывала, как жить в тайге. Каждый проходил ее, учился пускать стрелу по зайцу, настораживать снасть, подманивать на пикульку кабаргу, запирать берлоги. Потом их спрашивали старики, как они научились это делать. Могут быть кормильцами семьи или еще надо учиться. Не каждому парнишке сразу везло назваться охотником. Поэтому эвенки хорошо знали тайгу, сильные были и не искали другой жизни.

Улукиткан задумался. Мы сидели молча. Я смотрел на его морщинистое лицо, освещенное трепетным пламенем, и тоскливо думал о том, как мне будет не хватать в жизни дружбы с этим мудрым старцем.

— Но в обычаях наших было и такое, что не нужно

теперь, — продолжал Улукиткан. — Раньше без этого нельзя было обойтись... Когда на стойбище приходил голод, мор, когда даже самый сильный не мог добыть еду, тогда слабым старикам, которые уже не охотились, кормились тем, что добывали молодые, намекали, что они сделали свое в жизни: родили детей, научили их всему, что сами умели и знали, и теперь должны уйти из стойбища. Хорошие слова говорили больным и калекам, советовали и им уходить. Так нужно было, чтобы остальные остались жить и продолжили род... Тех, кто должен был умирать, не уговаривали. Это был долг. Уходили такие из чумов в самую стужу, без огня и без пищи, не жить уходили. Тогда этот закон был правильным для кочевников, его тоже сделала сама жизнь. Теперь он не нужен...

— Все это мне понятно так же, как и твоя боль, что забываем хорошие обычаи. Но согласись, Улукиткан, жить-то теперь стало лучше эвенкам?

— Ты правильно сказал. Жить всем куда с добром стало. У каждого своя изба, на стойбище есть и школа и больница, за товарами не надо далеко ходить — магазин рядом. Кто побежит от такой жизни? Кочевать хорошо было раньше, когда в лесу было много зверя, ягод, птицы. А теперь тайга бедная стала. Маток убивают, телят глушат, ничего не жалко, будто чужое! Неправильно делают. Пошто не наказывают таких разбойников? Надо у всех отобрать ружья, которые разоряют тайгу, не смотрят, когда можно охотиться, когда нельзя, по кому можно стрелять, а кого нельзя трогать. Таких даже пускать в тайгу не надо. — Улукиткан хотел еще что-то сказать, но лишь безнадежно махнул рукой и вдруг тихонько попросил: — Давай маленько спирт, вот столько, — старик показывает кончик пальца.

— Ты же после спать не будешь.

— Ничего. Когда я думаю о тайге, сон все равно отлетает от меня. Спирт съест боль сердца...

Я достаю бутылку, лью тонкой струйкой в подставленную стариком кружку.

— Еще другую беду хочу сказать тебе, большую беду. Надо хорошо думать, чтобы эвенки не уходили от своих стойбищ, где у них все есть. Чтобы они были хозяевами тайги, умели жить в ней, больше пользы давали. А то молодые бегут от оленьих стад, от пушного промысла, будто в чужой стороне их радость, а не тут. Потому что в школах их учат не тому, что надо эвенку, и они, как марал во время гоиа на рев охотничьей трубы, бегут из тайги в городскую жизнь и не понимают, что зто худо — бросать свое стойбище, тайгу. — Голос старика звучал все глуше, все тише, видать, иелегко ему высказывать эти давио его мучающие думы о покинутой когда-то родной Альгоме, о судьбе своих сородичей.

Разговор оборвался. Тихие дуиовеиия ветра баюкали тишину, легонько раздували синие вспышки костра. К полуночи воздух становится все более чистым и чутким. В нем отражаются малейшие звуки, еле уловимый шорох курумов, медлеино сползающих с вершии в провалы. На юге резко и густо сииеет полоска льдистого неба. Тоико пахнет из ложбии свежим снегом. Слышно, как далеко внизу Утук ворчит, срываясь с гладких валунов и убегая в темноту.

Беру чайник, шагаю к ручью. Иду медлеино, осторожно приминая сапогами ягель, чтобы ие растревожить ночную тишь, полнее ощутить безмолвие гор. Нагибаюсь к воде. Оиа поет стеклянным перезвоиом, таким чистым и ясным, будто иеземным. Набираю полный чайник, но не ухожу, стою на каменистом бережку. Хочется разгадать, о чем так печально поет ручеек? О потерянном лете? Об увядших цветах иа горных лужайках? Или это его последняя песия перед тем как уснуть, скованному стужей? Как жаль, что мне иепонятеи его язык. А вот если позвать Улукиткана, он послушает этот грустный шепот ручейка и непремеино переведет его иемой лепет

на человеческий язык. Старику все тут понятно, все доступно, это все его.

Возвращаюсь к костру.

— Спать надо, — говорит старик усталым голосом и, поднявшись на ноги, осматривает все еще черное небо. — Человеку сон прибавляет силы, как медведю — голод, птице — страх.

Засыпая, я снова и снова думал о том, что навсегда покидаю эти места и что слова «Становой», «Алданское нагорье», «Джугджур», «Селиткан», «Сага», «Шантари», «Ямбуй» теперь будут звучать для меня как старинная, родная песня.



ПРОЩАЙ, АЛЬГОМА!

Пробудился я внезапно от какого-то странного прикосновения, словно кто-то сильно толкнул меня снизу. Одновременно откуда-то из самой глубины гор донесся затяжной приглушенный рокот. Казалось, где-то рядом в седловине ломались скалы, падали вершины, сотрясая землю. «Обвал», — шевельнулось в голове. Откидываю капюшон спального мешка. Приподнимаюсь на руках.

Горит костер. Улукиткан, тоже встревоженный, стоит несколько поодаль от огня, без шапки, прислушивается к затихающему в провалах гулу. С минуту мы находимся в какой-то немой неподвижности.

— Чертям не спится, нашли время баловаться, — сказал я, успокаиваясь.

Из палатки выскочил полураздетый Василий Николаевич.

Но уже все стихло. Прошел испуг. Без звезд не угадать времени.

Теперь не уснуть. Я оделся. Сходил к ручью, умылся. Стал собираться.

Улукиткан продолжал сидеть у огня, будто забыл, что надо идти на хребет.

— Сердце неспокойно, — заговорил он, видимо продолжая вечерний разговор. — Может, беда караулит меня там за то, что я не вернулся на Альгому. — Улукиткан кивнул головой в сторону чуть видневшихся в темноте вершин и стал не спеша собираться. Накинул на сухонькие плечи дошку. Она у него такая старенькая, такая поношенная, вся в латках, что казалась старше хозяина. Он мог бы давно сменить ее на новую, но, видимо, не хочет расстаться с заплатами, с дырами и пятнами, напоминающими ему пережитое.

Василий Николаевич разогрел завтрак. Мы быстро расправились с ним, запили чаем и были готовы покинуть стоянку. Но вокруг еще темно. Стоим, ждем... Будто чья-то невидимая рука начала сдирать мрак с вершины Станового. Из-за перевала, с южных теплых склонов гор надвинулся сырой, рыхлый туман, лег на гребни грудью, да так и замер в грозной неподвижности.

— Однако, пойдем, — Улукиткан проткнул посохом холодный воздух, показав на голубеющий запад, — ходить будем тихо, говорить не надо.

Старик поправил на плечах котомку, связал ремешком лямки на груди и зашагал к уже хорошо выкроившимся из мрака скалам.

Идем не торопясь. Улукиткан ступает легко, как настороженная лань. Безошибочно находит проходы, камня ногами не потревожит. Я не отстаю, точно копирую его шаги. За все шесть лет наших с ним скитаний я всегда видел Улукиткана идущим впереди. Все трудности и неожиданности пути в горах или по болотам он брал на себя.

— Ты, наверное, думаешь, что старик сдурел, на какую гору лезет, чтобы только издали посмотреть на Альгому? — неожиданно повернулся ко мне и спросил Улукиткан.

— Зря говоришь так, наоборот — завидую тебе, что ты увидишь родные места, вспомнишь детство свое, которое так бережно хранишь в душе. Я готов подняться на две, на три таких горы, чтобы увидеть мой Кардоник, где родился, и так же, как ты, слишком рано и слишком далеко ушел от Кавказа, от своих родных мест.

— Послушай старика, обязательно туда вернись, посмотри из детства на всю свою жизнь.

И Улукиткан с таким участием посмотрел мне в глаза, что казалось, готов он свернуть с этого пути, забыть про свою Альгому и вести меня в далекий край горячего солнца, на мою родину.

Утро пасмурное. Тяжелые тучи плывут беспрерывной чередой на юге и пропадают за рваным краем Станового.

Мы осторожно шагаем по шатким плитам. Все выше и выше в тишину, нарушаемую лишь нашим дыханием.

Туман, что на рассвете завладел Становым, неожиданно отступил, бесшумно, как хищник, сполз со склонов. Но еще долго там курились перевалы. Ветер тянул с неприветливого севера, но был мягким и даже ласковым. Он растревожил темный свод неба, нависавший над серыми холмами, и мы увидели между ними голубеющие проталины. В них блеснуло солнце. Исполинские тени вершин пали в провалы и чернели до самого горизонта.

Дальше узкая щель, будто незаживший шрам от сабельной раны, разваливший на две части хребет. В ней холодно и сыро. Жутким кажется в этой заплесневевшей глубине одинокий крик ворона.

За щелью, наверху, неширокая терраса, сплошь затянутая топкой тундрой и окантованная с севера снежной каймой.

— Дальше воды не будет, давай тут попьем чаю, по-

том легче пойдем, — предложил я, заметив, как тяжело старик дышит и как никнет к земле его тело.

Он молча опустился на камень, с кряхтеньем распрямил уставшие ноги, долго развязывал ремешок, стягивающий лямки на груди, и, откинувшись на спину, уставился в синее небо невидящими глазами. Я собрал охапку мелкого сушняка, разжег костерок между двух камней, поставил на них чайник. Улукиткан с трудом поднялся, подошел к огню, таща за собой котомку и бердану.

— Чай пьем, сразу ходить будем наверх. Может, и правда Альгому увижу.

За соседними развалинами послышался тревожный крик кедровки. Улукиткан насторожился. Вслед за криком птицы оттуда же донесся стук камней, приглушенный расстоянием. «Что бы это могло быть?..» — Я привстал. Опять стук. И вдруг как загремит!..

Старик схватил чайник и одним движением выплеснул из него воду на костер. Приседая, он подал мне знак — не шевелиться, а сам горячо, напряженно смотрит куда-то вправо. Нет и следа усталости на его лице, в его позе.

Не глядя на меня, он вытягивает руку, выпрямляет палец.

— Зверь! — чуть слышно шепчут его побелевшие губы.

Я слегка приподнимаюсь. Ничего не вижу, кроме шишковатого пальца, направленного в сторону гребня. Но вот что-то огромное и живое попадает в поле зрения. «Сокжой!» Он появляется из провала метрах в полутораста от нас и стоит весь на виду, дескать, любуйтесь!

Зверь молодой, высокий, темно-бурый. На тонких и стройных ногах праздничные светлые чулки. Слегка горбоносая голова, с белой короной, сплетенной из симметричных рогов, очень подходит к его, кажущейся короткой, фигуре. Взъерошенная шерсть на спине выдает его

буйное настроение. Он стоит на выступе из бурого камня, щедро политый солнечным светом и четко вырисованный на фоне голубого неба. Он так красив и независим, что мы не можем оторвать от него взгляда, молча и недвижно, с волнением и любопытством наблюдаем за ним.

Вдруг он весь поворачивается к провалу и, замирая, бросает в немое пространство глухой, протяжный рев — явно вызов. Но кому?.. Никого нет. А зверь, угрожая, трясет рогами, и мы видим, как у него по округлой спине шевелятся бугры упругих мышц. Он бьет копытом по плите и снова ревет, наполняя эхом горы.

Легкий, еле заметный ветерок нет-нет да и налетит со стороны зверя. Старик толкает меня в бок, показывает правее, на край ложбины.

Там неожиданно появляется из-за края излома, несколько ближе к нам, огромный куст рогов. Потом показывается голова с круглыми и злыми глазами, обращенными к противнику, стоящему на выступе. Это старый сокжой — хор. Он делает неторопливый шаг из-за камня вперед, и мы видим широкую грудь, раздвоенную длинной седой гривой. Опустив низко голову, разгребает ногами мочажину и сильными ударами отбрасывает ее далеко назад. Трясет головой. Издает короткий, басистый рык. За ним на краю ложбины появляются самки и, не обращая внимания на происходящее, начинают кормиться. Их девять, с молодняком. Им, видимо, уже надоели междоусобицы быков и их буйства. Брачная пора у сокжоев прошла, но самцы все еще злобятся друг на друга и при встречах бьются.

Увидев близко самок, молодой сокжой было ринулся к ним, но вдруг остановился. На него уже несся разъяренный хор. Звонко столкнулись рога. Сгорбились могучие спины. В этом положении оба зверя и замерли на какое-то мгновение.

Пар, вырываясь из открытых ртов и ноздрей, окутывал

морды дерущихся. Протяжный рев расползался по ущельям, скалы басовито вторили ему. Мы видели, как по бурой шкуре хора пробежала дрожь, на ногах вздулись мышцы и в следующее мгновение он всей своей геркулесовской тушей подался на противника. Столкнул его с места, стал теснить к скату. Молодой сокжой оторвался от него, описал полукруг и, нагнув низко голову, хотел ударить противника сбоку, но был старым принят точно на рога. Слышится гулкий удар. Еще более сильный удар, и рога снова намертво переплелись.

Теперь оба стали яростно напирать друг на друга. Из-под копыт брызнула щебенка, загремели камни, затрещал мелкий кустарник. Громче зашумело эхо в скалах. Видно было, что уже не расцепиться. Этого я и хотел. Обрадовался. Наконец-то я пополню свою коллекцию парой черепов диких оленей со сцепленными навеки рогами — этим редким даже в тайге чудом.

Я протянул руку за карабином и хотел было встать, но Улукиткан строгим взглядом остановил меня. Он еще чего-то ждал.

Молодой сокжой, казалось, готов был сдаться, да разве расклинишь рога! А хор свирепел. Развернувшись, он прижал соперника к обрыву, надвинулся на него изо всех сил. Еще рывок, и у молодого подломились ноги, он потерял опору и начал медленно сползать в пропасть, таща на своих рогах и противника. Тот спохватился, уперся копытами в кромку, но не удержался и тоже стал сползать вниз. И оба, так и не расцепившись, покатились вниз. Сверзились в пропасть?!

Но не успели еще мы прийти в себя, как там, внизу, протяжно заревел один из сокжоев. Самки всполошились. Раздавшийся из провала стук камней стал приближаться. Еще через минуту послышалось прерывистое дыхание зверя и на площадку выскочил молодой сокжой. Он с разбегу отбил двух самок и погнал их, забирая все выше и выше, к боковому отрогу.

И тут появился третий бык, выросший точно из-под земли. Худой, длинный, шуба в свежих латках от побоев. Хромой на заднюю ногу. Видно, крепко досталось ему в этот брачный сезон. И теперь он не решается вступить в конфликт с быками, как говорится, подбирает то, что плохо лежит. Вот он, пригрозив рогами, рявкнул на самок, повернул их вправо и погнал вниз, все махом и махом...

— Такого мои глаза еще не видели. А этот хромой, — Улукиткан показал рукой вниз, — там, однако, стоял за скалой. Хитрый, всех самок забрал...

Мы развели костерок между двух камней, на прежнем месте, поставили на них чайник с водой. И еще долго находились под впечатлением увиденного. Должен сказать, что вообще, наблюдая за жизнью диких животных в их естественных условиях, я всегда испытывал величайшее наслаждение, несравненно большее, чем удачный охотничий выстрел по ним.

Наверху нас встретил порывистый ветер. Он налетал волнами, холодил лицо, врывался под одежду и, уносясь дальше, пел свою скорбную песню про дикие горы, про стужу и скалы. Улукиткан торопился.

Поднимались почти по прямой, в лоб, к видневшимся высоко останцам, охранявшим подступы к вершине. Не по летам старику был такой подъем, но он упорно шел впереди, штурмом брал крутизну. У последнего снежника старик вдруг остановился, стащил с головы ушанку. Может, тут ему почудилось, что из-за вершины ветер донес дыхание родного края. И в нем он уловил неповторимый запах родового стойбища Буты *, запах елей, болот, прокопченных чумов, который он часто пытался воскресить в памяти. Он распахнул дошку, чтоб свободнее дышалось, вдруг сорвался с места и почти бегом напра-

---

* Буты — эвенкийский род, некогда заселявший Алданское нагорье, из которого вышел Улукиткан.

вился вверх. Мелкий сухой снег сыпался из-под его ног. Улукиткан забрался на самую вершину, отдышался, устало подошел к краю обрыва и окинул нетерпеливым взглядом лежащее внизу нагорье. Сколько лет он ждал этой минуты!..

Я подошел к старику. Внизу, где обрывалась бешеная крутизна отрогов и темнели изломы глубоких расщелин, начиналась равнина, сумрачная, молчаливая, прошитая речками, вся в стылых пятнах болот. Она уходила за холмы на север, в поседевший простор материка, в бесконечность. То была его земля, политая потом предков, пережившая многие поколения. Может быть, в этот миг ему живо представились скученные конусы берестяных жилищ Альгомы, тайга его детства и мать, которую он чаще всего вспоминал, не знавшая ничего, кроме тяжких забот и нужды. Она виделась ему в вечном беспокойстве, без сна, в жалком рубище, не познавшая сладости жизни.

Старик прищуренными глазами неотрывно смотрел вниз. Ноги его заметно дрожали. Нет, он не устал от крутых подъемов, от долгой ходьбы. Его до дрожи взволновал не виденный с детства родной пейзаж, дымчатая равнина, извивы Альгомы, скрытой в скалистых берегах, синие дали. Он стоял с одухотворенным лицом, живой блеск его глаз затуманила печаль.

Улукиткан унес в чужие тогда для него зейские леса лишь детскую любовь к этой скудной природе. С тех пор сменилось много поколений зверей, птиц, реки изменили русла, но его тропа ни разу не дотянулась до угрюмого края детства. Он не оставил там ни своего следа, ни одного пенька, ни огнища! И вот она, его родина, лежит перед ним в холодных сумерках. Он узнал ее не по приметам, которые сохранила память, о которых он слышал от других людей. Он угадал ее чутьем, сердцем, силой внутреннего влечения.

Опершись грудью на посох, с котомкой и берданой за плечами, в рваных лосевых штанах и старенькой

дошке долго стоял на вершине горы последний человек из древнего рода Буты и стойбища Альгома.

Улукиткан рассказывал мне, как на этой земле, скованной вечной мерзлотой, прошли тринадцать лет его детства, суровой школы жизни. Не многие его сверстники выжили. Отцы берегли и пестовали только тех из своих детей, кто уже с ранних лет был способен бороться, постоять за себя. Улукиткан хорошо помнит, как однажды семья умышленно бросила его одного в старой гари, уснувшего на дневном привале, оставив ему лишь лук да несколько стрел, а сама ушла незамеченной с караваном далеко в глубь нагорья и там решила дождаться исхода этого испытания ребенка. Мальчуган по следам настиг семейный караван. Потом мальчишку оставляли в ночь на пятидесятиградусном морозе, без костра, с кресалом и трутом, и он должен был сам развести огонь, устроить ночлег, не имея с тобой ни топора, ни шкуры, чтобы укрыться. Не раз отправляли его голодным по следу подраненного зверя... Эта жестокая, но верная школа стоила юному эвенку многих страданий, но благодаря ей он стал Улукитканом. В неудачах ему никто не сочувствовал; ни отец, ни сестры, ни старейшие в роду — никто не смел! Разве только мать, поднявшись ночью подживить в чуме огонь, украдкой роняла на его щеку горячую слезу...

Стащив с головы ушанку, утерев ею глаза, Улукиткан надолго замер на самом краю обрыва, где кончался снежный надув, в молитвенном поклоне, то ли прощаясь, то ли прося прощения у родного стойбища, у тайги, у живущих в ней зверей и птиц, у своих предков за долгую отлучку. Видимо почувствовав усталость да и ослабев от волнения, он присел на камень. И пожалуй, я никогда не видел его лица таким просветленным и умиротворенным, лица по-настоящему счастливого человека.

Подсаживаюсь к Улукиткану. И по какой-то внутренней связи, с удивительной живостью и отчетливостью

возникают перед глазами мой родной Кардоник — горная станица, темные заросли чинар по отрогам Кавказа и белопенный в вечном гневе, быстротечный Аксаут...

Да, приходит пора и мне, как Улукиткану, на склоне жизни обязательно побывать на своей родине, в краю своего детства.

И надо поторапливаться...

...Старик поднялся, не спеша накинул на плечи котомку, бердану, взял в руки посох.

— Прощай, Альгома, однако, больше я не приду к тебе. К старости все тропы становятся во много раз длиннее, — тихо проговорил он, не сводя с нагорья затуманенных, чуть влажных глаз. Спокойно и мудро старческое лицо, освещенное закатом. Наконец он повернулся на юг и пошел неторопливыми шагами по гребню. Я двинулся за ним. На соседней вершине мы остановились и еще раз огляделись. Справа шел спуск в цирк, а слева крутые склоны гор падали в Зейскую низину. Хорошо видны Оконорские гряды, а левее и дальше — пологий, синеющий в холодном воздухе Джугдыр.

— Сходить надо бы в те горы, — сказал старик, показав рукой на восток, на истоки Зеи. — Когда мои глаза смотрят туда, я думаю о лючи каторжном. Он там жил на левом притоке Зеи.

— Откуда русский взялся?

— Из Якутска бежал, так он говорил, пристал к роду Эдяму и кочевал с эвенками, учил вырезать из дерева буквы и складывать из них слова, ковал ножи, женщинам делал рисунки, по которым они расшивали одежду. Много рассказывал сказок, какие люди есть на земле, звери, какая тайга. Царя шибко ругал... Когда революция пришла, он был уже старик. Ему все эвенки говорили: езжай домой, где родился. Давали оленей, шкуры, камаланы. Не поехал. Сказал: уже поздно. Почему поздно — мы не знали. И скоро умер. Я сам хоронил его на той речке, ее люди назвали Лючи.

— Ты не помнишь его фамилию?

— Как же, Демидка, Большой Демидка его звали.

— Это имя, а как фамилия?

— Говорю, Большой Демидка, другой фамилии не было.

Мы постояли, склонив головы, как бы отдавая должное памяти самоотверженного борца за людское счастье, одного из безвестных героев революции — Большого Демида.

— А когда ты, Улукиткан, смотришь туда, — я показал тоже на восток, но несколько левее хребта, на южный край Алданского нагорья, — что ты вспоминаешь?

У старика почему-то сурово сошлись брови, он неопределенно пожал плечами, медленно перевел в сторону, куда была обращена моя рука, взгляд прищуренных и без того узких глаз.

— Думаю о сыне, которого выменял у старой эвенушки, — после долгой паузы заговорил он. — Да не на пользу все это вышло — вырастил его и потерял. Так потерял, что ни следа, ни примет не осталось. Долго искал, всю тайгу исходил, два, три года за этим ходил... Много зим ушло с тех пор, далеко ушел я от тех мест, а память все хранит, не забывает.

— Почему же сын ушел от тебя?

— Кто его знает, зачем бросил теплый чум и сытую жизнь.

— Может, погиб, утонул в реке или со скалы сорвался?

— Ты не спрашивай меня о нем, надо долго и много толмачить, чтобы понять. Сейчас времени нет, видишь, день кончается, надо вниз идти.

Из темнеющей глубины небесного пространства начали падать редкие снежинки. Они неслышно опускались на обнаженную голову старика, на сурово сдвинутые брови и, превращаясь в крохотные капельки влаги, скатывались по морщинам и складкам его лица. Но Улукит-

кан будто не замечал ни снегопада, ни холодного ветра, налетающего снизу. Может быть, он думал о том, что слишком коротка человеческая жизнь для того, чтобы разобраться во всех ее загадках, горестях и радостях, чтобы побывать хотя бы в самых близких и дорогих сердцу местах на земле?..

Я легонько тронул его за плечо. Он задумчиво глянул мне в глаза и тихо сказал:

— Если скоро дойдем до табора, однако, расскажу тебе про сына...

Старик посмотрел в серое войлочное небо, надел шапку, поправил на спине котомку и быстро зашагал вниз.

...Когда мы через несколько часов, окруженные тьмой, сидели у костра, Улукиткан обратился ко мне.

— Ночь длинная, если хочешь — послушай про сына, — предложил он мне. — Расскажу, что память не забыла, сберегла. Хотя и было это шибко давно.

Василий Николаевич удивился:

— Про какого сына ты хочешь рассказать?

— А слушай и ты, если спать не хочешь...



БЫЛЬ ДАВНО МИНУВШЕГО

...Зима тогда была лютая, ветреная. Закостенела земля, вымерзли мари, застыли непокорные стремнины рек. Пурга неистовствовала много дней, глаза забивала, своего следа не видно было. Валила сухостой, срывала чумы. Все попряталось, затаилось. Белка подолгу не кормилась, по две-три в гайне собирались — одной в худеньком гнезде не выжить. Соболь, уж тот-то привычный к холоду. Шуба у него, можно сказать, царская, в ней он где угодно может зимовать, а и он в такую непогодь отсыпается в дупле или под россыпью, злющий на весь мир. В лесу не видно, не слышно ни кедровок, ни поползней, ни синиц — птица затаилась в чащах или в снегах, не пикнет, не взмахнет крылом.

Потом ветер утих. Пришел резун-мороз. От этого не стало легче.

Там, где впадает Этмата в Джегорму, за стеною густого перелеска, возвышался одинокий чум. Рядом в затишке стояли олени. Холод заставил животных сбиться в кучу, прижаться друг к другу так плотно, чтоб щелочки не было. Опустив низко головы, они дышали под себя, согревались снизу своим теплом, а сверху их прикрывало плотное облачко, образовавшееся из застывшего пара. Холод не спадал, и олени стояли неподвижно, серой шерстистой массой, вот уже вторые сутки.

Стужа крепчала. Дурные приметы не сходили с неба, они угадывались в подспудном, еле слышном гуле леса, в шелесте ползущей по реке наледи, тревожили людские мысли. В чуме в эти дни ни на минуту не затухал огонь. Старенькие, худые сохатые шкуры, чем было накрыто жилище кочевников, плохо держали тепло. Спасением был костер. От него дочерна закоптели шесты, посуда, лица. И надо же было случиться непогоде, когда кончались припасы. Второй день недоедали. А мороз подбирался к шестидесяти градусам. Конечно, никому в голову не придет в такой холод идти добывать зверя. Впрочем, нехватка пищи не очень тревожила молодых обитателей чума — с полупустыми желудками можно переждать непогоду. Упаси бог остаться без дров в такую стужу!

Дров на ночь было припасено достаточно, их бы хватило и на утро. Но именно в эту, самую холодную ночь, молоденькой жене Улукиткана Ильдяне приспело рожать. Будь другая женщина рядом, посоветовалась бы, а мужу сказать постеснялась. Они ждали первого ребенка.

Скрючившись у огня и положив на ногу большую кабарожью шкуру, Ильдяна дочищала ее острым скребком. Она эти дни выделала две такие шкуры. Славные будут пеленки новорожденному, мягкие и теплые. С осени заготовила полный турсук лиственничной трухи из сухого черного пня, хорошо промяла ее, просеяла. Доб-

рая будет присыпка в зыбку ребенку, не подопреют у него нежные места на тельце.

В полночь Ильдяна ощутила в животе толчок, каких до этого не бывало. Теперь и сама догадывалась, что наступают роды. Сказала Улукиткану. Не все у него было приготовлено для такого важного события! По эвенкийским обычаям надо непременно поставить где-то в стороне от стоянки маленький чум для роженицы. В нем она должна сама справиться с тем, что ее ждет. Но разве можно поставить чум при такой стуже, когда носа нельзя высунуть наружу, дыхание перехватывает. Поэтому жена останется лежать в чуме, одна, сама с собою, а Улукиткану придется выйти на мороз. Он, по обычаю, не должен присутствовать при родах. Даже когда важенка телится, самец удаляется от нее. На этот счет обычай строг, безжалостен и к женщине, и к мужчине. Улукиткан был обеспокоен: еще неизвестно, как обернется то, что он оставил роженицу в общем чуме. И не дай бог, если об этом узнает шаман! Он этого не простит.

Улукиткан ждал сына. Ильдяна хотела угодить ему и ради этого немало поглотала липкой, прозрачной смолы, какая выступает из кедровых шишек в солнечный день. От нее, по поверью, женщины рожают мальчиков.

Бросив на огонь последнюю охапку дров, эвенк стал одеваться. На ноги натянул меховые чулки, сверх них унты, надев на себя легкую дошку и малицу из осенних оленьих шкур, вышел из чума. Надо было побольше заготовить дров. Ночь будет длинной, а очаг ни на минуту не должен угасать. В чуме должно быть тепло.

К жилью подступала жуткая темень. Эвенк плюнул вверх и услышал, как на лету треснул смерзшийся плевок. Постоял немного, пока глаза привыкли к мраку, взял топор, лежавший у входа в чум, шагнул в ельник.

В мыслях Улукиткана тревога за жену: сумеет ли одна сделать все как надо? И место худое тут на устье Этматы. За что ни возьмись — все неладно получается. Кап-

каны бураном занесены, не просто теперь их разыскать. Плашки шестой день не осмотрены из-за холода, как бы соболь и птицы не завладели добычей. Пять оленей потерялось, в непогоду далеко уйдут, где их след найдешь, а встретятся с дикими сокжоями — считай, совсем пропали. И вот с женой не вовремя получилось. Надо бы уйти с этой стоянки, сбить со своего следа злых духов, это они жизнь эвенка корежат. Но куда сунешься в такую стужу?

Такой стужи не было в тайге за все тридцать лет его жизни. Отяжелели ноги, в голове зашумело. Остановился, припал плечом к стволу лиственницы. Вдруг сзади отчетливо донесся хруст снега под чьими-то тяжелыми шагами. Улукиткан оглянулся. Никого. Но знал, что слух не обманывает его. Долго всматривался в темный сумрак леса, стараясь приглушить вмиг возникшее предчувствие чего-то недоброго.

Эвенк постоял еще с минуту и только было шагнул, как снова, но более отчетливо расслышал позади все тот же хруст снега. «Что такое?» — подумал он. Оглянулся. Лохматая тень, чернее ночи, неслышными прыжками передвигалась по ельнику, настигая его.

«Медведь!»

— Хек... хек... хек... — отчетливо доносилось хриплое дыхание зверя.

Эвенк не побежал, отступил за дерево, решил сопротивляться, сжав топор в руке. Зверь мелькнул в просвете между деревьями. И вдруг вылез из мрака, встал на дыбы, огромный и свирепый.

Улукиткан крепко оперся ногами о мерзлую землю, вскинул над собою руки с топором. Извечные лесные враги — человек и зверь — какую-то долю минуты стояли в темноте друг против друга, как бы собираясь с силами. Зверь вдруг взревел, окатив противника удушливым запахом псины, и ринулся на человека. Но эвенк увернулся от протянутых к нему когтистых лап и с пра-

вого плеча сильно рубанул медведя по темени. Еще раз ударить он не успел. Медведь придавил к земле, пытался рвать когтями, но лапы его не двигались, не сгибались в суставах. «Зверь-то, видать, обморозился!» — мелькнуло в голове Улукиткана, и это сразу придало ему силы. Извернувшись, он высвободился из-под зверя, вскочил, схватил топор и резким ударом его раскроил зверю череп.

Эвенк торопливо ощупал свое тело. Боли нигде не было, значит, зверь только свалил его, а тронуть не смог. Пьяными шагами Улукиткан подошел к толстой ели, прислонился к ней плечом. Стер рукавом с лица липкую звериную пену. Постепенно пришел в себя. И, потрогав ногой медвежью тушу, убедился, что перед ним лежал зверь с отмороженными лапами. Еще раз ощупал мерзлые лапы, худющие бока. Сомнений не было — шатун! Улукиткану снова суеверно подумалось, что это не к добру.

Надо бы сразу над убитым зверем совершить медвежий обряд, иначе худо будет всем: и людям и оленям, — дух медведя всемогущ. Положено как можно мягче обращаться с убитым зверем, сразу надеть на его морду сплетенное из тонких березовых прутьев кольцо, чтобы усмирить в звере злого духа. Потом завязать зверю тряпочкой глаза и потаскать его тушу вокруг дерева, против хода солнца, чтобы зверь не увидел, куда ушел охотник.

А Улукиткану надо было еще отвести этого духа от своего чума, от роженицы и новорожденного. Как эта встреча некстати! Улукиткан рад был бы исполнить обычай предков, но как было это сделать в такую стужу? В голову суеверного эвенка лезли страшные мысли. Вспомнились рассказы, как жестоко мстит этот зверь людям за свою смерть. И он решил отказаться от медведя, от шкуры и мяса, дескать, не видел, не убивал его, и даже жене решил ничего об этом не говорить.

Но на всякий случай надо замести следы. Он повернул тушу спиной кверху, с трудом вытянул вперед его

непослушные передние лапы, положил на них рассеченную голову зверя — точь-в-точь так спят в теплые дни медведи. И ушел, пятясь задом, чтобы след его на снегу шел в обратном направлении. Дошел до края ельника, там несколько раз повернулся вокруг себя и лишь после этого перебежал поляну. Остановился и огляделся. В лесу было тихо. В небе дрожали промерзшие звезды, с реки слышался зловещий шорох наледи, сползающей по Джегорме. И вдруг раздался душераздирающий человеческий крик из чума — у Ильдяны, видать, начались схватки. Еще и еще. Голос роженицы то как бы повисал над безмолвным лесом, то взлетал к самым звездам, то падал тихим стоном на землю.

Улукиткан натянул до отказа капюшон малицы на уши, мужчине не положено слышать этот крик, иначе родится урод. Долго стоял, раздумывая над всем, что случилось в ельнике, пытаясь как-то отгородить эти события от того, что совершалось сейчас в чуме. Только бы все обошлось благополучно, только бы злой медвежий дух не вздумал вмешаться... Крик Ильдяны смолк. Опять тихо-тихо стало в еловом лесу. На краю поляны, впаянной в темноту, чернел молчаливый чум. Улукиткан встряхнулся, заторопился...

В чуме темно. На ощупь отыскал очаг, разворошил рукою огнище, подул на тлеющие угольки. Прислушался — ни плача, ни стона. Испугался. Подвалил к очагу смолевой сушняк. Раздул пламя. Ильдяна, бледная, потная, молча улыбнулась ему. Она откинула оленье одеяло, и обрадованный Улукиткан увидел у ее груди красный и мокрый живой комочек.

— Сын, — еле слышно прошептала Ильдяна и ещ раз улыбнулась.

Слетела тяжесть с души Улукиткана. Окружающ мир, первобытный, неласковый, вдруг посветлел, смягчился. Растроганный эвенк не знал, как выразить жене свою благодарность, что родила именно сына. В нем он

уже видел будущего помощника и наследника. Давно в своих мечтах видел он его рядом с собой у медвежьей берлоги, на соболином следу, в схватке с пургой.

Улукиткан сбросил малицу, вышел из чума, радостно, как никогда в жизни, рубил, колол дрова, летела в темень щепа из-под топора. Он чувствовал в себе небывалую силу. И скоро в худом, дырявом чуме звенка заплясало празднично пламя большого костра. Он повесил на огонь медный котел со снегом, развязал большой меховой сверток, в нем хранились для новорожденного кабарожьи шкуры, мягко выделанные, — пеленки — и развернул темную шкуру двухлетнего сокжоя, специально отстрелянного осенью, когда шерсть на нем неломкая, мягкая и плотная. Она заменит одеяло. В свертке были крохотные чулки, нагрудники из мягкой замши и разная мелочь. Все это он разложил возле постели жены.

Ильдяна сказала, что ей надо встать. Улукиткан подбросил в костер дров, добавил в котел снега и, одевшись, вышел из чума, чтобы не касаться дел роженицы, она сама управится с собою и новорожденным... Рожай она в маленьком чуме, в стороне от стоянки — тогда сама должна была принести ребенка в общий чум, уже спеленатого, будто случайно найденного в лесу...

Радостно возбужденный Улукиткан, не чувствуя стужи, долго стоял возле чума, ждал, когда его позовет жена.

Неожиданно из заиндевевшей пустоты, из ночного безмолвия донесся еле уловимый живой звук — пискнула хохлатая синичка. И тотчас же, будто разбуженный им ничтожным звуком, кто-то пробежал по твердому снежному надуву, звонко захрустел снег. Встревоженное этим, зашевелилось оленье стадо. Из-за ельника донесся шум крыльев поднявшейся с земли копалухи. Затем она шумно усаживалась на вершине лиственницы и крикнула свое: «Ко-ко!..»

«Скоро утро», — заключил по этим звукам Улукиткан.

«Спасибо тебе, синичка, что разбудила утро». Потянул носом — вроде потеплел воздух.

Воздух становился все более чутким. Звуки доносились из заречных марей, из тайги и из какой-то невидимой глубины пространства. Оживал мир, голодный, усталый, измученный долгой стужей. И вдруг совершенно явственно кто-то громко вздохнул. Эвенка испугал этот тяжелый утробный звук. Тотчас же вспомнился зарубленный шатун. Но тут же отогнал от себя эту мысль.

— Качи! — окликнул он любимую собаку и прислушался, как залихватски раскатило его голос утреннее эхо по ожившему старому лесу. И еще радостнее стало на душе эвенка.

Качи вылез из снежной ямы, выкопанной им под елью еще до непогоды. Стряхнул с шерсти снег, с зевотой потянулся и завилял хвостом. Голодными глазами он посмотрел на хозяина, подошел к нему, потерся костлявым боком о малицу, дескать, теперь считай, что пережили непогоду и можно выходить на охоту. Улукиткан отогнал его сердитым окриком. Он никогда не ласкал Качи, никому не позволял дотрагиваться до него руками — был убежден, что человеческий запах долго сохраняется на собачьей шерсти, даже дожди не смывают его, и отпугивает от собаки остановленного ею зверя.

Качи — сухощавый рыжий кобель. Длинный корпус держится на крепких, хорошо поставленных ногах. Морда почти белая, как бы поседевшая, с умными глазами. Уши Качи всегда держит торчком. Ходит легко, мягко. Во всем чувствуется породистость. Улукиткан выменял его щенком за учага у эвенка из рода Буляет — жителя заболоченных лесов, славившихся отличными промысловыми собаками. Он доволен собакой, не прогадал, что дорого заплатил. Качи стал его кормильцем и первым помощником. Он бегает **вожаком** в собачьей упряжке, от него редко уходит зверь, он лучше всех тропит соболя, на слух чует белку. На медведя идет напористо, азартно,

редко подавая голос, зато сохатого он облаивает беспрерывно, мягко, будто забавляясь своим голосом, и Улукиткан по его лаю легко определяет, какого зверя держит Качи. Для кочевника цены нет такой собаке!

Улукиткан вытащил из-под снега нарту, поставил ее полозьями к восходу. Солнце вот-вот появится из-за лохматого края леса. Отобрал упряжь. Решил дать оленям сутки покормиться. Послезавтра надо будет свертывать чум, откочевать с этого места... затем он задумался о жене.

Ильдяна, в пятнадцать лет став женой Улукиткана, уже умела делать все, что положено эвенкийской женщине: ставить чум, пасти оленей, выделывать шкуры, обшивать мужчин, настораживать капканы, аргишить, держать в порядке кочевое хозяйство. Знала все обычаи предков и, главное, должна была уметь рожать детей по заказу мужа — мальчика или девочку. Улукиткан заплатил ее отцу, старому, одинокому эвенку, кочевавшему всю жизнь по гнилой речке Ытымже, семь важенок, три соболиные шкурки, связку белок и десять упряжных ремней. Дорого отдал по тогдашним временам. Но Ильдяна, конечно, отработает ему все это, ведь он стал ее полным хозяином, мог распорядиться, как важенкой, как собакой. Но Улукиткан никогда не обижал жену, помогал ей в хозяйстве, берег ее молодость. Ильдяна все отдала мужу, жила одними желаниями угодить ему. Она была благодарна богам и духам за то, что стала женой доброго человека, и чего только не приносила им в жертву. И молодая женщина была счастлива, родив ему сына, которого он с таким нетерпением ждал...

Наконец Ильдяна позвала его. У входа в чум Улукиткан сбросил малицу, сбил рукавицей снег с унтов, перешагнул порожек. Плотно застегнул за собою лаз. Внутри тепло от распавшегося на угли костра. По стенкам чума качался тусклый свет сальной коптилки. Ильдяна, встретив мужа, бросила на костер мелкого сушняка, и в один

миг, как по волшебному велению, в чуме вспыхнуло яркое пламя. Стало совсем светло. Все было прибрано в жилище, ничто не напоминало о родах. Ильдяна стояла бледная, босиком, в стареньком ситцевом платье, слегка расчесав самодельным гребнем сбившиеся волосы на голове. С краю лежанки, на камалане, сшитом из кожи, содранной с сохатиных голов, спал сын, прикрытый еще и кабарожьей шкурой. Его смугло-красное плоское личико мать нарочно оставила открытым, «пусть отец смотрит, любуется». Ильдяна, несмотря на слабость, стояла гордая, вся сияла от счастья и с улыбкой следила за мужем.

Улукиткан разделся, вытер руки о лосевые штаны, подошел к новорожденному. Откинул шкуру — надо же убедиться, что не девчонка. Довольный, закивал головой, похлопал загрубевшей рукою по плечу жены, дескать, молодчина.

В чум пришла радость. Молодым родителям казалось, что не бывает большего счастья на земле. Как они были благодарны духам, что все так хорошо кончилось.

Ильдяна вдруг схватилась за живот, пошатнулась, но успела пойматься рукой за шест, удержалась. Приступ боли выжал из нее долгий, протяжный стон. Скользя рукой по шесту, она с трудом опустилась на согнутые в коленях ноги, свалилась за колоду. Улукиткан уложил жену в постель, накрыл шкурой, завернул как мог ребенка, положил под бок матери. Этого он не должен был делать ни в коем случае! Но какое-то хорошее, впервые испытанное им чувство к жене оказалось сильнее обычаев, угроз шаманов и наказа предков.

Потом Улукиткан достал из потки замшевую сумку. Встряхнул ее и улыбнулся. В сумке были собраны сохатиные, оленьи, кабарожьи бабки для сына. Когда он встанет на ноги, большие бабки будут служить ему в играх с оленями. На них он положит крошечные турсучки, сделанные из бересты — вьюки, а маленькие бабки будут

изображать людей. «Пусть приучается с детства водить аргиш по тайге», — думал отец.

Узкая полоска солнечного света рассекла пополам чум. В лесу загалдели кем-то потревоженные кедровки. Улукиткан заторопился.

— Капканы соберу и заодно оленей посмотрю, не ушли бы далеко.

Жена одобрительно кивнула головой, чуть приподнявшись на постели, на большее не хватило сил.

— Шибко не задерживайся, мне что-то лихо...

— А ты не вставай, может, полегчает. Дров я притащу, снега натаю. Что тебе еще?

Улукиткан быстро управился. И правда, надо было торопиться. День не ахти какой долгий. Солнце обленилось, низко плывет над землей, присмирела тайга. Растеклась теплынь. Заверещали птицы.

Эвенк встал на лыжи, перекинул пистонку за плечи и вышел на свою лыжницу, побежал легко. Раскрытой груди было жарко. Не чувствовал под собой лыж. Хорошо, когда есть сын! Вся земля ликует. Веселым гулом наплывает лес. Пойдешь ходко под гору, и он бросится, побежит с тобою. Остановишься, и лес замирает рядом. Крикнешь — он отзывается. И солнце твое, и холмы, и дятлы — весь мир твой.

Своими прежними, припорошенными снегом, витиеватыми следами Улукиткан обежал заречные отроги. Спустил плашки, снял капканы. Все по-хозяйски убрал. В поняжке за спиной с десяток белок да два соболя. В эту зиму еще такой добычи не было.

Не заметил, как завечерело, заторопился на табор.

В ложке́, заросшем мелким лиственничным подлеском, увидел наторенную волками тропку. Задержал бег лыж. Ощупал голой рукой когтистые следы — свежие. Хищники бежали легкой рысцой в поисках добычи. Чего доброго, на оленей наткнутся, долго ли до беды?! Настичь бы да хотя бы припугнуть, угнать подальше. Гля-

нул на закатное солнце, заколебался. Припомнились слова жены перед его уходом, её усталое лицо. И сын, посапывающий у ее груди. Не поддаваясь соблазну, он не свернул с пути. Авось волки пробегут мимо. Направился прямо к чуму, продолжая беспокойно думать о пропавших оленях.

Вспомнился шатун, роковой момент встречи с ним в ельнике, взмах топора и треск черепа. «Надо же было именно в день рождения сына встретиться этому бродяге на пути, не мог раньше или позже», — думал Улукиткан.

Он твердо решил завтра свернуть чум, покинуть Этмату, направить нартовый след на север, к истокам Купура. «Пусть дух медведя думает, что я туда откочевал, а я в удобном месте сделаю петлю, поверну назад, погоню оленей по льду без следа и незаметно исчезну в тайге. Может, там не найдет меня амакан *, отстанет», — думал Улукиткан, вышагивая по мягкому снегу.

Его манил дальний путь, новые пади, неизвестные речные ключи, перевалы. Это у него было в крови, как у всех кочевников. И опять же сына надо сразу приучить к аргишу, пусть его баюкают перебор оленьих копыт в быстром беге, звон бубенцов, крутизна перевалов да шум тайги. С детства должен привыкать к тому, из чего жизнь будет складываться...

За поворотом он увидел белесый чум, чуть выступающий из густого сумрака. Из дымового отверстия, откуда торчат концы шестов, тонкой струйкой вился дымок в звездное небо. Запах родного жилья будто смыл с лица эвенка усталость и озабоченность. До слуха его донесся детский плач.

— Эко звонкий какой! — обрадовался Улукиткан.

Ильдяна с нетерпением и тревогой ждала мужа — ведь теперь у них на руках сын. Сидя на колоде, отде-

* Амакан — медведь.

лявшей огонь очага от постели, она держала в подоле свое живое сокровище — сына. Он лежал голенький на меховой подстилке, пригретый теплом костра, смуглый, с малюсенькими, необычайно черными бусинками глаз. Мать, наклонившись к нему и придерживая рукой грудь, полную молока, пыталась всунуть розовый набухший сосок в непослушный ротик сына. Он сопел, тужился, казался чем-то недовольным. Улукиткан долго стоял, не двигаясь с места, привороженный этой картиной.

Да, он не ошибся в Ильдяне. Она принесет ему, как этот, по меньшей мере трех сыновей. Много сыновей — много добычи, лишний поставленный капкан на соболя, лишняя выпущенная стрела по зайцу, лишняя сотня добытых белок, дай бог всем такое. И тогда Улукиткан поведет свой большой аргиш в самые далекие тайги, до Керби, за Учур, побывает на морском промысле. С сыновьями все тропы будут прямее, короче.

Улукиткан развязал на груди замшевые вязки, сбросил с плеч дошку, подсел к огню так, чтобы хорошо было видно сына.

— Ильдяна! — сказал он спокойным голосом, ласково посмотрев на жену. — Нам, однако, повезло — сын родился. И стужа кончилась. Надо бы ублажить доброго духа за заботу, но ты знаешь, что у нас для этого нет ни жира, ни свеженины — сколько надо. Да и наши языки давно не отведывали свежего мяса, все потки почти пустые. Давай завтра свернем табор, уйдем отсюда далеко. В пути пробудем до новой луны, двадцать с лишним снов переспим, пойдем прямо и прямо на восход, до самого моря. Там на берегу поставим чум, разведем огонь, отпустим оленей, сами промышлять будем тюленя, нерпу, рыбу. Охотнику в тех местах много удачи. А весновать вернемся в свою тайгу. Так велит мое сердце. Ты как думаешь?

— Я пойду твоим следом, — коротко ответила она.

Порыв ветра качнул чум. Из темной щели в кровле

упала горсточка снега на голый животик ребенка. Он вздрогнул, съежился, заорал на весь чум. Мать и отец рассмеялись.

— Ишь ты, какой мерзляк, привыкай, — улыбаясь, сказала мать и, смахнув с тельца сына тающий снег, взяла на руки. — Пора тебе спать.

Улукиткан достал из потки турсун с сухой древесной трухой, подал жене. Та набрала полную пригоршню коричневой муки и присыпала ею малышу пахи, под мышками, шейку, запеленала неистово кричащего сына в мягкую шкуру, сунула ему в рот вместо соски кусочек мягкого вяленого мяса, проткнутый поперек прутиком, чтобы не подавился, и уложила сына в зыбку. Затем подтащила к себе одну из поток, порывшись в ней, вынула горсть нарезанной кубиками и засушенной на солнце оленьей крови, несколько луковиц сушеной сараны, которые она приберегла к этому дню. Улукиткан обрадовался. Давно не едал такого лакомства. Стали угощаться. Полный рот вкусного хруста. Эко сладко да сочно! Для языка — праздник.

Ильдяна подала мужу чашку чаю и кусок вяленого мяса — жирное оленье ребро. Улукиткан подержал его над огнем, и чум наполнился ароматом жареной оленины.

Потом натесал щепок для разжигания очага, втащил внутрь жилья два кряжа, положил их концами на огонь и плотно прикрыл за собой вход. Теперь надо хорошо выспаться, отдохнуть. Не часто бывает у него так легко на душе, как в этот день. На новых местах он непременно добудет много сохатых, сокжоев, покроет чум новыми шкурами, чтоб ни стужа, ни сквозняки не трогали его сына. Может, и пушнины добыть удастся вдоволь, ведь промысел только начинается. А с вьюками доброй пушнины эко весело будет кочевать на ярмарку! Русский купец, увидев связки белок, колонков, добреет, а от искристых черных соболей у него раздуваются ноздри и

жилы на шее, он, как журавль на болоте, раскланивается с тобой, еду тебе и спирт даром дает. Пей сколько хочешь. Только на этот раз, думает Улукиткан, не дам себя одурачить, как бывало прежде, непременно увезу с ярмарки в тайгу полные потки муки, добрый мешочек бисеру на унты и дошки жене и сыну, иголок, чаю, соли и даже сахару...

С этими мыслями и нырнул Улукиткан в меховую постель, мгновенно заснул, точно на камысных лыжах с пригорка скатился по мягкому снегу...

И вдруг услышал, что кто-то называет его по имени, просит выйти из чума. Он выбрался из-под шкур, накинув на плечи дошку, вышел наружу. Видит — шатун стоит на задних лапах, черный, здоровущий, как чум, с топором, всаженным в его череп по самый обух, отчего морда зверя перекошена и кажется еще страшней. Улукиткан задрожал от страха.

А шатун, вытащив из своего черепа топор и откинувшись всей тушей назад, со всего маху рубанул человека по голове. Улукиткан закричал во весь голос.

— Тебе, однако, страшное приснилось? — спросила Ильдяна, выбираясь из-под шкуры, чтоб взять подсыхающую у огня пеленку, сын тоже пробудился и звонким плачем напомнил о себе.

— Так себе, соболя гнал, на поторчину налетел, больно ушибся, — соврал Улукиткан. Он и на этот раз не сказал жене об убитом шатуне — к чему ее тревожить, у нее и без того сейчас много забот. А перед глазами все еще страшный сон — медведь с выпученными глазами и разинутой пастью, с топором в лапе. «Видно, не хочет от меня отставать дух, шибко рассердился, неужто его верх будет?» — с ужасом думал эвенк.

— Послушай, Ильдяна, — сказал он жене перед рассветом, — я пойду за оленями, а ты уложи потки и постели, маленько покорми собак, может, сегодня они мне

помогут добыть свеженины. Вернусь — и сразу тронемся в дорогу...

За ночь резко приморозило. Закуржавел лес. В морозной тишине слышался только хруст и треск наледи на реке. Еще чище и глубже стало небо, ярче звезды. Улукиткан на лыжах, с ружьем за плечами вышел на берег Этматы, прислушался — не брякнет ли где ботало, не скрипнет ли снег под копытом оленя. Нет, оленей теперь не ищи близко, на выбитом корме, тепло распутало им ноги, и они, наверно, утянулись к свежим пастбищам, к не тронутому копытами ягелю.

Куда же идти, где найти ночью их след? Он окинул взглядом полуокружье заречных холмов и широкие плешины заснеженных марей. Нет, туда не пойдут олени, кочковатое место. Глянул на лежащие в противоположной стороне синие сугробы, которые казались вздутыми мышцами земли. Там глубокий снег, трудно из-под него оленям добывать корм. Значит, олени скорее всего кормятся в глубине правобережного распадка, там и корм еще никем не тронутый и теплее, чем на открытых местах.

Придя к такому выводу, эвенк соскользнул с крутого берега на реку, забрал круто вправо, быстро зашагал по льду к боковому отрогу.

Под ногами шорох камысных лыж. По сторонам — сонный ельник. Впереди широкой белой дорогой выстлалась Этмата, убежала вперед и оборвалась у темной полоски наледи. Улукиткан остановился, послушал зловещий шелест ползущей воды, пошел вкось ложков с пригорка на пригорок. Торопился. Он решил отсечь полукругом пологие отроги к Джегорме. Пошел на спуск. Замелькали стволы, завилял след по косогору. Вдруг он, сдвинув пятки, резко притормозил бег лыж, круто свернул со своего следа: увидел на снегу отпечатки круглых когтистых лап. Это волки прошли. Вчерашняя шайка. Быстро спустился их следом в широкий лог.

В зимнем, заиндевевшем лесу было тихо. Ничего подозрительного. Только где-то в отдалении одиноко отбивал свой утренний час дятел. Улукиткан раздумывал: куда идти?..

Хотел было продолжить свой путь в распадок, где должны находиться олени, но что-то заставило его пойти по волчьему следу.

На дне лога он пересек заледеневший ключик, истоптанный свежими следами сохатого. Зверь уже после волков прошел, наверно, где-то близко жирует. Но сейчас Улукиткану было не до сохатого. Надо было во что бы то ни стало найти пропавших пять оленей, без них нельзя было откочевать из этих мест.

Волки бежали рысцой, одной стежкой, строго след в след. Но за ключиком вдруг их следы широко разбежались по логу. «С чего бы это?» — встревоженно подумал Улукиткан.

Пошел быстрее.

За еловой чащей он увидел место кормления оленей, копанину, лежки и следы их панического бегства от опасности. Удирали они напрямик, через колоды, валежник, кочки — уходили в глубину лога, видимо рассчитывая, что там их спасет глубокий снег, совершенно непроходимый для волков.

Хищники, почуяв добычу, рванулись следом за оленями, но скоро разгадали нехитрый их замысел, быстро изменили тактику. Все разом волки переместились влево, стали обгонять оленей, теснить их к увалу, на мелкий снег.

Волки действовали наверняка. Голод придавал им силу и отвагу. На увале они внезапно скучились, одним натиском расклинили оленей, отбили самого крупного быка — и тут же расправились с ним. На истоптанном снегу Улукиткан увидел клочья шерсти, обглоданные кости, внутренности и копыта. Лучшего оленя сожрали.

В бессильной ярости обрушил он на хищников все, какие знал, проклятия.

Не задерживаясь, нашел следы четверых оставшихся в живых оленей. Они удирали по направлению к табору, а волки после сытного пира потянулись в противоположную сторону.

Улукиткан смахнул ладонью, растер руками пот с лица, надел шапку и стянул на груди вязки, чтобы не простыть, и направился догонять оленей. Они спустились в соседний лог, потянули вниз. Там к ним, откуда-то взявшись, присоединились еще два оленя.

Улукиткан перешел распадок и, выбравшись из ельника на марь, увидел свежую копанину. «Видно, тут стадо отдыхало, не должно далеко уйти». Сдвинув набок ушанку, он вслушался, и слух поймал звонкий голос ботала. Повернул лыжи на звук и скоро в соседнем ложке увидел своих оленей и двух приблудных. Вот они стоят немножко в стороне, большерогий бычок и добрая важенка, осторожно косятся на человека. Видать, давно отбились от своего стада, одичали. Чьи же это олени, кому надо их вернуть? Но пока пусть ходят в его стаде, заменяя загубленного волками.

Он подошел к своим оленям, взял на повод одного из них. Приблудные в нерешительности держались поодаль. Эвенк незаметно намотал на руку длинный ременный маут и внезапно метнул его в сторону важенки. Она сделала несколько прыжков в сторону, но свалилась, раздалось хриплое дыхание из ее затянутого ремнем горла. Бычок бросился было наутек, но, сделав круг, вернулся к стаду, не в силах оставить в беде свою подругу.

А Улукиткан, что-то ласково приговаривая, подошел к лежащей оленушке, надел на нее узду и снял с шеи маут. Ощупав ее уши, на левом он нашел два коротких разреза. Узнал метку эвенкийского рода Эдяму с Маи. Удивился — далеко беглецы зашли! И хотя чужому горю нельзя радоваться, но два оленя в хозяйстве кочев-

ника не будут лишними, подумал снова Улукиткан. А хозяину оленей он передаст с кем-нибудь долговую палочку, что взял их у Эдяму взаймы и при случае обязательно вернет.

С земли, взорвав грохотом крыльев тишину, поднялся глухарь и неподалеку тяжело свалился на вершину лиственницы. Вытягивая шею, он краснобровыми глазами посмотрел на стадо оленей и не заметил, как человек нырнул под сосенку. Сорвав из-за плеч ружье, Улукиткан взвел курок, прислонил ружье к дереву стволом и прицелился, прищурив узкий глаз. «Далековато, не доплюнет», — подумал он, но все-таки решил попытать счастье, загадав на маленького сына. Подвел пупырышек мушки под грудь лесного царя птиц и нажал на пуск. Сильно толкнуло в плечо, на всю округу гукнул выстрел, и эхо, дробясь, раскатилось по холмам и ложкам. Глухарь покачнулся, пошевелил крыльями, подняв к небу краснобровую голову, как бы прощаясь с утром, и рухнул наземь, ломая сучья. От падения огромной птицы взбугрился, взвихрился под лиственницей снег.

Ишь как хорошо день начинается! К двум оленям прибавился еще и глухарь! Теперь-то Улукиткан уж не выбросит, как прежде, зоб глухаря, надует, высушит его, выкрасит ольховой корой — будет славная игрушка сыну!

Когда он вернулся на табор, Ильдяна успела все вещи уже упаковать и сложить на нарты. Осталось раскрыть и уложить опустевший чум, и можно запрягать и навьючивать оленей. Глухаря не стали теребить, отложили на вечер. Скорей, скорей в путь! Улукиткан радовался наступающему дню, дорожным приключениям, видел в нем перелом к лучшему.

Ильдяна собирала сына в дорогу. Выстлала мелкой хвоей новенькую люльку — эмкэ, сделанную из тонких березовых лубков. Поверх постелила оленью шкуру, чтобы в первом пути новорожденному было тепло и мягко. Пеленая его, она влюбленно смотрела в открытые гла-

зенки младенца, и по лицу ее расплывалось материнское блаженство. Всю ее жизнь теперь заполнял этот живой комочек.

Наконец все было готово. Олени впряжены, нарты выстроены в ряд, к ним сзади привязаны важенки. Пока Улукиткан пил чай, Ильдяна накормила сына, уложила его в эмкэ и приторочила зыбку к последней нарте.

— Не закрывай ему глаза, — сказал отец, издали наблюдая за женой. — Пусть смотрит, запоминает тайгу, речки, свороты, потом когда-нибудь приедет сюда, все будет знать.

— Не ознобить бы его, маленько прикрою, а солнце покажется, потеплеет, тогда открою. Еще успеет, наглядится.

Улукиткан в последний раз осмотрел стоянку — не забыто ли чего. Проверил упряжки. Можно трогать. Смутная тревога, зародившаяся в его душе позавчера, после схватки с медведем, снова проклюнулась, как птенец из яйца. «К добру ли этот путь? Надо ли было сразу после рождения сына пускаться в такой дальний аргиш?» Но, глянув на солнце, на лес — все торжествовало после непогоды, — Улукиткан развеселился, дурные предчувствия отступили перед этой утренней радостью.

Он встал на лыжи, взял в руку поводной ремень от передней упряжки. К поясу привязал поводок Качи, чтоб собаки не удалялись от каравана. Без окриков тронул аргиш, спустился на реку, обогнул млеющий в солнечных лучах ельник, выпрямил след.

Легонько крикнул на оленей, и аргиш закачался по бугристому снегу. Впереди лежала мглистая просинь береговых лесов. В звонком воздухе четко отдавалось пощелкивание копыт бегущих оленей, скрип полозьев да треск древесных стволов от жгучего мороза. Путь шел по Джегорме, крепко скованной льдом.

Ветер большой дороги тронул губы Улукиткана, и он запел. Будто посветлело сразу на душе, и все вокруг

ожило, стало ему подпевать. В своей песне эвенк раздумывал вслух о жизни, славил тайгу, говорил теплые слова жене — благодарил за сына, обещал щедро одарить добрых духов, как только будет у него хорошая добыча. Пел Улукиткан — и весь мир лежал под ним, как никогда просторный, распахнув пред ним широкое раздолье лесов. И песня, будя утреннюю тишину, словно вела аргиш в неизмеримые снежные пространства.

За излучиной, справа к реке, сбегала темная полоска ельника, значит, тут впадает в нее приток — таежный ключик. Улукиткан с ходу свернул под темный свод ельника, поднялся малость по руслу ручья и с гиком вывел аргиш на другой, крутой борт. Надо было дать передохнуть оленям, сменить самых усталых, ослабевших свежими, запасными. Да и Ильдяне надо дать время заняться сыном. Она тотчас распахнула дошку, расстегнула кофту, вынула разбухшую от молока грудь и припала ею к настывшему личику сына. Ребенок, не просыпаясь, жадно зачмокал губами.

— Надо бы перепеленать ребенка, да как без костра? — сказала Ильдяна мужу, не отрывая нежного взгляда от сына.

— Потерпит. Отведем подальше и там сделаем большой привал.

Улукиткан, сам не зная почему, торопился. Гнало его вперед какое-то смутное недоброе предчувствие, которое нет-нет да тревожило молодого эвенка. Быстрым движением он хотел приглушить, оттеснить это предчувствие.

Вот путь каравану преградила чаща. Улукиткан пальмой прорубает в ельнике проход. И вдруг, бросив повод, подходит к растущей слева молодой осине. На ее стволе он видит широкую царапину. Осматривает «пол» вокруг осины и удовлетворенно улыбается: сохатый тут прошел! Два-три дня назад он тут ломал тальник, лакомился молодыми побегами и сгонял острыми зубами стружку коры с зеленых стволов осин. «Славно погу-

лял», — думает эвенк, оглядывая местность. Справа давнишняя гарь, густо поросшая мелкорослой чащей, заваленная стволами давно погибших деревьев. Самое зверовое место. Тут и корм ему, и затишье, значит, не должен далеко уйти. Привязанный Качи, зачуяв звериный след, начал поскуливать, принюхиваться к снегу и рваться с поводка. Забеспокоились и две другие собаки, но не уходили от своего вожака, ждали приказа хозяина.

Обойдя чащу, Улукиткан нашел выходной след сохатого. Ушел он от места кормежки ровными, ленивыми шагами, никем не потревоженный. Потянул вверх по ключу. В мокром месте оставил отпечаток острых копыт. «Матка, — решил охотник. — Яловая, без телка летовала. Эко много добра носит при себе!» — И Улукиткан спустил Качи с поводка.

Кобель кинулся было по следу, но вдруг остановился, тряхнул своей лохматой рыжей шубой и, задрав морду, недвижно и чутко внюхался в воздух, ища среди множества лесных запахов тот единственный, который так необходим сейчас ему и хозяину. Навострив короткие уши, выворачивая их то в одну, то в другую сторону, Качи прослушивал тайгу.

Где-то далеко за гривой тишину всколыхнул крик кедровки. Видимо, удовлетворенный разведкой, Качи легкой рысцой потянул налево в сыролесье и скрылся с глаз. За ним увязались и остальные две собаки. А Улукиткан вернулся к нартам.

— Сохатый тут кормился, — сказал он Ильдяне. — Выедем на увал и там маленько подождем, не подадут ли голос собаки. Зверь не должен уйти далеко.

Он поднял с земли поводной ремень, раз-другой взмахнул пальмой и повел караван из зарослей на прогалину, видневшуюся на увале.

Остановились на вершине перевала, возле старой лиственницы, на стволе которой болтались выцветшие тря-

почки, кусочки меха — жертвоприношения проходивших тут когда-то путников.

Улукиткан отпустил оленей кормиться, развел костер. С высоты перевала он увидел устье Этматы, темные резные полосы береговых ельников и подумал, что надолго расстается с этой речкой, на берегу которой родился его сын. Будут ли добрые духи милостивы к нему и дальше, оградят ли они его путь от беды? Надо бы в дар им бросить кусок жиру на огонь, да его нет. Улукиткан повесил на лиственницу две тряпочки и бросил под камель несколько пуль. «Не думайте, что мы не помним ваше добро, а зверя свалим, щедро рассчитаемся с вами, добрые духи», — мысленно обещал эвенк.

В костре звонко щелкнула головешка, отлетел уголек на брошенную на снег дошку, запахло паленым. Тут же тревожно забарабанил крышкой чайник.

— К чему бы это? — суеверно спросил эвенк и боязливо глянул в сторону, куда отлетел уголек, — туда же лежал их путь. Настороженно прислушался к тишине — ничего не ответила ему тайга. Только хотел присесть к костру, как услышал отчетливый треск, будто кто-то огромный неуклюже пробирался по чаще, разваливая сухостой. Ильдяна тоже насторожилась. И вдруг там взревели собаки, разом все три, а загадочный треск стал отодвигаться вправо, перекатился через увал и стих в соседней пади. Скоро там снова проголосил Качи. Стало ясно, что он преследует зверя, наверно, того сохатого.

Кочевники радостно переглянулись.

— К добру, однако, уголек-то! — уверенно сказала Ильдяна.

Улукиткан заспешил. Конечно, собаки измотают зверя, далеко ли, близко, но задержат. Не помешала бы ночь. Ильдяна быстро перепеленала сына: подсушила у огня его влажное тельце, сменила мокрую труху, подстилки, туго завернула его в мягкую оленью шкуру. Укладывая

в зыбку, прильнула губами к крохотному личику, долго целовала.

— Что-то неловко на сердце, так и не выпускала бы из рук сына, — вздохнула она.

— От радости сердцу больно. Потом отойдет. На нашем следу дурных примет не видно, беде вроде бы неоткуда взяться. А зверя добудем, добрых духов не оставим без жертвоприношения. Все будет ладно, — успокоил жену Улукиткан.

Солнце сдвинулось с полдня, пошло на спуск. Остался позади дымок костра. Прокладывая глубокую борозду в сугробах, полз с тягучим скрипом нарт караван кочевников. Шли по следам зверя и собак. Помогал выбирать дорогу и отчетливо доносившийся лай собак.

Зверь, видимо, уходил размашистой рысью, придерживаясь открытых мест. Как по шнуру, отбивал он свой путь по снегам, нигде не свернул, не запнулся, не остановился. Ушел он со слуха человека, увел за собой собак, но не уйти ему от своего следа.

На пригорке эвенк затормозил ход лыж, разбросал под ногами снег, припал голым ухом к мерзлой земле, послушал.

— Лают на месте, держат! — крикнул он обрадованно и, весь загораясь охотничьим азартом, стал собираться на охоту.

Наказав Ильдяне малость переждать тут, а затем вести караван по его следу, он выхватил из передней нарты пистонку, освободил ее от мехового чехла и закинул на ремне за плечи, как поняжку, встал на лыжи. Глянул на солнце, прислушался: лают... Его легко понесли камысные лыжи. Вскоре отогрелись и отсырели от пота вязки на груди, спине стало мокро. Сбросил дошку — жена подберет. Пошел еще быстрее. Теперь лай прямо в лицо. Звонко вторит ему таежное эхо. Лес мягко качается в глуховатом гуле, как в колыбели. Прокричав с высоты,

обгоняет охотника кукша — туда же спешит, на лай. Знает, разбойница, где можно поживиться.

Лай все ближе, все громче. Как из-под земля доносится и тяжелый храп, и стон сохатого. Эвенк замедлил шаг, неслышно выбрался на пригорок, выглянул из-за дерева и замер: совсем близко, в мелком сосняке ворочалась живая черная копна — зверь! Мгновенно наметив подход к зверю, Улукиткан отбросил в сторону пальму, перекинул ружье со спины на руку, взвел курок, надел на бронку пистон, дожал его курком до отказа. Снова выглянул, ветерок легонько дует в лицо — значит, не вспугнет зверя запахом человека.

Рысиными шагами обходит он пригорок, неслышно приминая лыжами сыпучий снег, крадется к сосняку. Зверь, занятый собаками, не чует опасности. Разъяренно он бросается на них, бьет мерзлую землю копытами, угрожающе трясет головой.

Качи, заметив хозяина, еще больше смелеет, вызверившись, подступает все ближе к сохатому. Осмелели и собачонки. Но зверь не думает отступать. Округлились, выкатились на лоб его глазища. Из открытого рта валят клубы горячего пара. Страшен и могуч он в своем гневе, не только отбивается, но и сам нападает. Схватка становилась еще более яростной.

Улукиткан прислонился к стволу старой сосны. Глубоко втянув в легкие холодный ветерок, приглушил дыхание, взвел курок, положил палец на спусковую скобу и, плотно прижав ложу к правой щеке, выглянул из-за сосны. Зверь был почти рядом, длинноногий и черноспинный, как старая листвяжная коряга.

«Теперь-то не уйдешь!» — подумал Улукиткан, прищурив левый глаз, напряг правый, навел мушку на переднюю лопатку сохатого — в самое сердце решил всадить пулю. И спустил курок...

Чуть слышно треснул пистон... Осечка!.. Зверя будто кто сильно толкнул, и он мощно рванулся вперед, раз-

метав собак. Грудью раздирая сосняк, с грохотом круша сушняк, зверь уходил напролом и через мгновение исчез из виду.

Улукиткан оторопело привалился плечом к сосне и долго стоял сам не свой, не понимая, что случилось. «Ружье не должно бы сфальшивить. Однако, порох отсырел?.. Надо ж, совсем в руках был, да, видать, не мой», — подумал он мрачно.

За сохатым ушли и собаки:

Еще раз припал слухом к тишине, но ни лая, ни треска не слышалось — молча синели перед глазами увалы, да курился по падям вечереющий лес. Улукиткан поежился — без дошки на морозе зябко вспотевшему телу. Решил развести костер и тут, в сосняке, дождаться жену.

О спичках он знал понаслышке. Говорили: чиркнешь раз — и огонь. Такому не сразу поверишь. А он привык высекать огонь кресалом.

Улукиткан увидел возле себя старый сосновый пень. Рассек его пальмой. Разгреб ногами рядом снег, насыпал горкой трухи от пня и, несколько раз ударив кресалом об острый излом кремня, добыл огонь, и долго раздувал, пока труха не вспыхнула синим пламенем.

Солнце, зарумянясь, уже склонилось к горизонту, когда подъехала Ильдяна. Она понимала, что без выстрела не свалишь зверя. А выстрела не слышала. Ничего не спросила, молча смирилась с мыслью, что эта ночь будет голодной.

Аргиш тронулся дальше. Олени месили копытами сыпучий снег, затаптывая следы убежавшего с собаками зверя. За ложком сохатый свернул влево, пересек перевал и лиственничным редколесьем ушел в широкую падь.

Выбравшись на гребень перевала, Улукиткан остановил запыхавшихся оленей.

Впереди лежала широкая падь Иногли. Улукиткан

с одного взгляда узнал быстротечную речку Иногли. Сквозь лиственничное редколесье хорошо было видно кривое, как согнутая в локте рука, ее русло. Но засветло до реки не добраться, пора табориться. День уже уходит. Увидел в распадке ельник — чего лучше! Взял в руки повод, чтоб туда вести караван, но вдруг вскинул голову, сдернул с головы ушанку, повернул ухо по ветерку. Откуда-то из-за речки, что темнела впереди на дне широкой пади, неровно, глуховато доносился, как звук бубна, лай Качи.

— Пойдем напрямик! — Улукиткан указывал рукой в ту сторону, откуда доносился лай.

С новой силой вспыхнула в нем надежда. Уж теперь он не упустит. Молодец Качи, с такой собакой не пропадешь в тайге, кормилец!

Улукиткан дал лыжам полный ход, за ним еле поспевали олени.

Только не обогнало бы его солнце!

Лай ближе, яснее, то стихает, то усиливается, распугивая вечернюю тишину. По разгоряченному лицу охотника хлещут волны студеного воздуха.

Побежала навстречу лиственничная тайга. По голосам собак Улукиткан понял, что зверь умаялся крепко, стоит. Но чтоб не получилось, как в прошлый раз, надо поторапливаться.

Вот и река, шириной саженей пятнадцать. Олени оборвали свой бег на ее пологом берегу. Взлетевший табун косачей расселся недалеко на пышной березе. Сейчас не до них. Надо скорее перебраться на другой берег. Он внимательно осмотрел темную полоску открытой воды посредине реки, потопал ногами по льду, проверяя, выдержит ли он тяжесть нарт. Справа слишком крутой берег — не спустить нарты. Слева полынья. Улукиткан постоял, подумал, решил переправляться ниже. Голоса собак теперь звенели почти рядом, под отрогом.

Он уже повернул было оленей, но вдруг задержался.

Глаз его заметил кругленький, как пятачок, след на снегу. Присмотрелся — еще и еще. Подошел ближе. Выдра! Свежо прошла. В полынью. Тут она, где-то близко. В голову ударила кровь. Кто откажется от такой добычи!

Улукиткан заспешил, подал знак Ильдяне затаиться, а сам стал подкрадываться к полынье.

Добрался до устья ключика, впадающего в реку как раз против полыньи, и там затаился. Перед ним темнела полоска открытой воды, уходящая за поворот. Видимо, в этом месте со дна русла бьют теплые ключи, поэтому вода тут не замерзает даже в сильные морозы. В таких свободных от льда промоинах и держится выдра, охотясь за глупым харнусом. Эх, хорошо бы раздеть ее, снять пышношерстную шубку, — неплохой добавок к сохатому!

Даже дыхание притаил, сидит ждет. Вот-вот должна появиться выдра. А в уши врывается близкий лай. На месте, значит, зверь, никуда не ушел. Эвенк косит глаз на солнце — и оно как будто остановилось, ждет вместе с ним.

Улукиткан начал сомневаться, тут ли выдра, почему так долго не выходит на лед, может, под водой у нее есть ход в нору. А он зря сидит, ждет. Напряжение спало, и он уже хотел встать, как из темной глубины полыньи бесшумно показалась усатая, седая морда хищницы. Выдра вынырнула наполовину своего длинного туловища и быстрым взглядом окинула заледеневшую реку: нет ли какой опасности? Затем ловким движением выбросилась на кромку льда. Еще раз огляделась, стряхнула с шубы воду, лизнула белую манишку на груди, откинула тяжелый хвост. Улукиткан не дыша замер, словно пень на берегу. В этот миг отступил от него весь суетной мир и заботы, будто замолк призывный лай собак, остался только этот живой серебристошерстый зверек с усатой мордой. Такое богатство рядом! И как русские купцы жадны до выдрового меха!

А выдра не торопилась. Не часто зимой выпадают такие мягкие дни и такое щедрое солнце. Она продолжала сидеть на самой кромке льда, занимаясь своим туалетом. Прихорашивалась. Взбивала когтистыми лапками густую шерсть на боках. Ничто не тревожило ее. Но охотник сдерживал себя, не стрелял, бесполезно, даже тяжело раненная выдра свалится в воду и как камень уйдет на дно.

Хищница, видимо, решила от полыньи вернуться своим следом к местам, откуда пришла. Впрочем, всем строением своего тела, нравом, ловкостью она хорошо приспособлена к жизни в воде. И ведет себя в реке, как настоящий тигр. Но зато она совсем беспомощна на суше. Тут ее длинное тело кажется неповоротливым и тяжелым для ее слишком коротких, утиных ног. Вот она неторопливо, будто стелясь, поползла, впиваясь острыми когтями в прозрачную скользкую поверхность льда.

Улукиткан ждал, когда выдра отдалится от полыньи. Важно покачивая своим длинным корпусом, не чуя засады, она приближалась к берегу. Кругом был привычный речной покой, нарушаемый лишь всплесками открытой воды. И вдруг, видимо почуяв человека, выдра всполошилась, поднялась, хотела броситься назад, к полынье, но тут ее настигла пуля.

Эвенк вскочил, подбежал к еще бьющейся в предсмертных судорогах добыче, схватил ее за задние ноги. Эко здоровенная!.. На солнце она блестела, как сохатиный камыс. Улукиткан поднял ее высоко, крикнул радостно:

— Ильдяна, смотри!..

И глянул туда, где стоял караван.

Ужас исказил его обветренное, скуластое лицо. Из рук упала выдра, с плеча свалилось ружье. Какую-то долю секунды он еще не верил своим глазам. Но вот донесся рыдающий крик жены. И словно пружина, кинуло эвенка

туда, где с треском ломался лед, и в открывшуюся бушующую воду погружались олени и нарты...

Оставленные без присмотра голодные олени, привлеченные запахом ягеля с противоположного берега, не устояли, не стали дожидаться хозяина и сами тронулись через реку. Под тяжестью груженых нарт лопнули спайки и без того слабого льда, он вдруг потемнел и стал прогибаться. Олени, почуяв опасность, рванулись вперед. Четыре упряжки успели проскочить гибельное место и на крепком поводном ремне вырвали из хлынувшей воды пятую. Две последние нарты были сбиты в пролом вырвавшимся из-под ледяного покрова потоком. Олени, охваченные смертельным ужасом, повернули было назад, но взбугрившаяся бешеная вода вместе с нартами стала поджимать их под лед.

Все это увидел Улукиткан. Ноги сами несли его к ледяному провалу, где среди вздыбленных торосов мелькали головы запутавшихся в упряжке оленей. Точно сквозь туман, он видел, как Ильдяна, рискуя собой, бросилась на лед, пытаясь удержать последнюю нарту, к которой была крепко приторочена зыбка с сыном. Сквозь гул воды и треск льда донесся жалобный детский крик. Улукиткан успел догнать и схватить обезумевшую жену у самого края полыньи...

Новый напор воды сдвинул обломки льда, накрыл ими все еще барахтающихся в бессильных попытках противостоять течению животных. Волна накатилась на последнюю нарту, державшуюся на льдине, качнула ее раз, другой и, чуть приподняв, перевернула вместе с зыбкой, показав небу добела стертые полозья.

Пока эвенк оттаскивал жену в безопасное место, на реке все смешалось, сгрудилось у затора. Животные, окончательно запутавшись в ремнях, захлебывались. Вода, горбясь как хищник перед роковым прыжком, замерла в чудовищном потуге. И вот послышался подспудный гул реки, оглушительный треск. Разорвавший ледяные

оковы поток, сметая преграды, утянул под лед нарты и оленей. Но самый сильный в стаде бык, которому Улукиткан доверил зыбку с сыном, сопротивляясь потоку, отступал задом и каким-то чудом зацепился огромными рогами за кромку льда, под который тащила его вода. Упираясь всеми четырьмя ногами о каменистое дно и затылком о твердый край ледяного припая, он силился противостоять напору воды и удерживал нарту. Улукиткан, увидев это, с разбегу всем телом свалился на лед, но проломал его и по грудь оказался в воде. Дальше он все делал машинально, не подчиняясь не только разуму, но даже и инстинкту.

Холодная вода обожгла его. Он выхватил нож, отсек упряжкой ремень, на котором держался второй, уже мертвый олень, перекинул другой ремень через плечо, оказавшись в одной упряжке с быком, который удерживался рогами за лед. Он стал пинать его в бок, по ребрам, кричал, звал с собою вперед, навстречу потоку. И каким-то чудом они вдвоем вытащили нарту на берег. Улукиткан отпустил быка, ножом пересек ремни на зыбке, развернул мокрую оленью шкуру... Сын был уже мертв. Улукиткан застонал от горя.

Он сбросил с себя мокрую дошку, переложил на нее, вынув из зыбки бездыханное тельце сына с посиневшим личиком, с остекленевшими глазами и перекосившимся ротиком. Улукиткан дышал на него, растирал нежно его грудку, брал на руки и качал, прижимая к своему горячему телу...

— Делай огонь! — крикнул он Ильдяне, выдержав на себе ее долгий, мучительный взгляд. Она стояла рядом полураздетая, потрясенная случившимся до отупения, до полного безразличия. Закон предков запрещал ей оплакивать горе и смерть близких. Ильдяна будто потеряла себя, все забыла. Она не отозвалась на приказание мужа, не стронулась с места. И вдруг что-то словно оборвалось у нее внутри, отступил страх перед духами и

запретами. Тяжелый комок, подкативший к горлу, лопнул, и она дико зарыдала, рвала на себе волосы, царапала лицо. И плевала в небо, крича:

— Будьте прокляты, духи! Сгореть вам на огне! Захлебнуться в реке! Берите и меня... Берите! — Она сильным рывком распахнула дошку, разорвала платье и словно предлагала темнеющему небу свои обнаженные плечи и грудь.

Но тут же она и опомнилась, испугалась страшных кар и бед, какие могут обрушить на нее за сказанные ею слова, за нарушение законов предков разгневанные духи. Она как-то сразу сникла. Стерла ладонью черные капли крови с лица. Взяла из рук мужа уже холодное тельце сына, бережно завернула его в сухую шкуру, взятую с уцелевшей нарты. Дальше Ильдяна не знала, что делать, куда девать глаза, чтобы они ничего больше не видели, куда девать руки, уже привыкшие все время ощущать сына. Болела грудь, набухшая молоком, которое теперь некому отдать...

Улукиткан сам разжег костер. Вспыхнула береста, затрещал сушняк, и пламя закачалось в холодном воздухе. Они оба склонились возле огня, молча глядя на жаркое и веселое пламя. И только тут до слуха Улукиткана долетел лай собаки. Он повернулся на звук. Глянул на солнце.

— Надо ехать. Ночь здесь застанет — потемну куда стрелять будешь, опять отпустим зверя, — сказал он, не глядя на жену.

Улукиткан решил сходить за выдрой, потом переправиться на другой берег, где находились остальные нарты и олени. И попытаться еще сегодня взять сохатого.

Но тут совсем неожиданно вечернюю тишину потряс недалекий выстрел. Взвыли собаки. Лай откачнулся к отрогу и там оборвался, затих. Эвенк продолжал стоять, будто оглушенный раскатом. Кому бы тут быть? Нигде

не было видно ни следов нарт, ни копанины оленей, ни остатков костра. Откуда пришел этот охотник, присваивающий чужую добычу?

— Ильдяна, ты слышала? — наконец тихо обратился он к жене.

— Может, это не выстрел... Может, старая лиственница треснула...

Улукиткан отправился к полынье за выдрой и ружьем.

Ильдяна медленно опустилась на колени возле нарты, на которую муж положил завернутого ребенка. Она распахнула дошку, под которой лежал посиневший, голенький сын. В окаменевшем ее лице, в мелких морщинках, обозначившихся в уголках ее губ и узких глаз, в каждом ее движении — молчаливое материнское горе, боль, разрывающая сердце.

Улукиткан почти бегом добежал до того места, где бросил добычу, чуть не закричал от обиды. Пуля, вероятно, не насмерть поразила выдру, она отлежалась и уползла в полынью, оставив охотнику лишь окровавленные пятачки своих следов. «Горе не приходит одно», — со щемящей болью подумал Улукиткан. Он глянул в темную воду, пытаясь увидеть на каменистом дне завернутое в серебристую шкуру, на миг обрадовавшее его охотничье счастье да, может, и утопленную нарту, захлебнувшихся оленей. Да где там! И тут ему припомнился страшный сон. Вспомнил пролетевшего над караваном с криком старого ворона — худую птицу. Дурные приметы, выходит, сбылись, дух убитого шатуна преследует аргиш, разгоняет добычу, строит козни. И эвенк почувствовал себя совсем бессильным, беспомощным перед этими таинственными и могучими силами.

Все вокруг показалось ему пустынным, чужим и ненужным. Вернулся к нартам, с трудом переставляя отяжелевшие ноги. Тяжелые, беспросветные думы тупо ворочались в голове.

Ильдяна не помнила, как руки сами завернули трупик сына в шкуру и уложили его в зыбку. Теперь ему не требовались ни труха для присыпки, ни ласковые слова утешения. Не помнила, как сложила на нарту пожитки. Бык, с которым Улукиткан вытащил нарту, уже перебрался на другой берег, к остальным оленям. Поэтому Улукиткан и Ильдяна сами впряглись в нарту и перетащились по льду на другой берег к оленям и нартам.

Кочевники быстро привели в порядок аргиш и тронулись в путь по сохатиному следу, еще заметному на освещенном закатом снегу. Они торопились, пока еще светло, надо было распутать сомнения, связанные с загадочным выстрелом, попытаться догнать сохатого. Шаг за шагом кочевники уходили от роковой переправы, онемевшие от горя и страха перед всемогущими духами тайги.

Потухал на горизонте роковой день. Над широкой падью все гуще синело небо. Воздух холодел. С трудом продвигались вперед и олени, упряжные ремни глубоко врезались в их худые шеи. Бедные животные, их настолько изнурил этот день, что уже не пугал угрожающий окрик хозяина.

Аргиш прошел мимо холма с безлесной вершиной, примеченной Улукитканом еще с берега речки. На снегу отчетливо виден след размашистого бега зверя и собачьего гона.

Пройдя саженей сто сквозь чащу, Улукиткан остановил оленей на опушке перелеска. Тут весь снег был взбит ямами, кустарник изломан и вырван с корнем, колодник разбросан — очевидно, тут возобновилась яростная схватка собак с сохатым.

Улукиткан бросил поводной ремень передней упряжки и обошел кругом место этой схватки. Едва-едва светил потухающий закат в сумрачном лесу, но эвенк различил на снегу след чужих лыж. Человек на них пришел слева из-за холма. Лыжи у него были короче и шире

обычных эвенкийских. Улукиткан заключил, что этот человек пришел издалека, скорее всего с побережья. По короткому шагу догадался, что это старик. Но что ему тут надо? Почему захватывает чужую добычу?..

Пройдя немного по его следу, Улуткиткан поднял с земли остатки пыжа после выстрела. А вскоре нашел и утоптанное место под старой лиственницей, откуда охотник пальнул по зверю. Дальше его лыжня накрыла кровавые следы убежавшего зверя, потянула вправо к подножию отрога. Шел он не спеша, видно, был уверен, что пуля сломила силу сохатого.

Улукиткан подал знак Ильдяне вести караван, а сам двинулся вперед. В тишине слышался дробный стук дятла да шепот стлаников. Но вот настороженный слух звенка уловил удар топора. Еще раз, другой... Ухнула подрубленная лесина, потрясая гулом тайгу. Ветерок набросил запах дыма.

Улукиткан дождался жену, велел ей тут задержаться. Сбросил с плеч бердану, проверив заряд и пистон, шагнул вперед — в густой сумрак леса...

Чащу леса пронизал дрожащий луч костра. Улукиткан припал к лиственнице и осторожно высунул голову. Но из-за чащи еще нельзя было что-нибудь рассмотреть. Осторожно приминая лыжами податливый снег, он, как рысь на горячем следу, подобрался к толстой валежине и затаился за нею. Где-то слева, учуяв хозяина, взвизгнул Качи. Голос своего пса он узнал бы среди сотни других, более сильных звуков. Но почему кобель не бежит к нему? Неужели привязан? Такого еще не было в тайге. Привязать чужую собаку — все равно что украсть ее. Улукиткан, тронув курок ружья, на него он надеялся, выглянул из-за валежины. За деревьями открывалась поляна, освещенная горевшим посредине большим костром. Возле него мельтешили какие-то тени. Левее чернел большой чум. За ним табун оленей. Улукиткан опустил ствол ружья. Это было стойбище эвенка. Он потянул носом

запах мясного варева и точно опьянел — как давно не баловался сохатиной!

Подле костра на снегу лежал черным бугром убитый зверь, и высокий мужчина, горбясь над тушей, работал ножом — сдирал шкуру. Вокруг него расположилась стайка детворы, один другого меньше, нетерпеливо следившей за тем, как отец свежует сохатого. Детишки были почти полуголы, в меховых обносках, лица изнурены голодом. Да и чум был накрыт дырявыми шкурами вперемежку с берестой. Оленей было немного, и они тоже исхудалые, видно, прошедшие большой путь. Все это эвенк заметил с одного взгляда, и настороженность растопилась в нем. Он смело вышел из темноты на свет и направился к костру.

Всполошились собаки, с лаем бросились навстречу. Из чума вышла пожилая женщина и, заслонив ладонью свет костра, удивленно осматривала Улукиткана. Вспугнутая его появлением, детвора мигом бросилась к ней и, прячась за широченной юбкой, пугливо затаилась.

Мужчина кряхтя поднялся, воткнул нож в тушу, вытер руки о полу старенькой дошки. Отступил на шаг. Откашлялся. Худой и высокий, он стоял, сгорбившись, будто готовясь к прыжку, и настороженно всматривался в лицо незнакомца. Не нашел знакомых примет. Дождался, когда Улукиткан подошел к огню, взял протянутую ему руку. Оба они не знали друг друга. Обычай никому не разрешал в таких случаях проявлять любопытство. Вначале надо гостя напоить чаем, а потом он сам расскажет, куда и зачем тянет тропу.

— Пошто не отпускаешь оленей на корм? — спросил Улукиткан, сделав вид, что, кроме этого, не замечает ничего.

— Близко отсюда чумищем стоял, там олени кормились, неголодные... Это твой рыжий кобель? — Он кивнул головою вправо, под ель, где метался на привязи Качи.

— Мой.

— Твой и зверь. — Он отшагнул от туши, вложил нож в ножны и, оправдываясь, продолжал: — Думал издалека собаки привели его сюда, до вечера ждал хозяина, никто не пришел, ну я и пальнул. Шибко мясо нужно было. Вишь, сколько их наплодилось, по куску и то на раз гору мяса надо. А у меня собаки пропали, у самого ноги худые, а снег глубокий...

Улукиткан подошел ближе к туше, осмотрел ее заблестевшим взглядом. Яловая сохатиха. Мясо все в жировых прослойках! Давно у него во рту не бывало такой сладости. Но Улукиткан, подавив голод, своим ножом отделил от туши заднюю ногу, отдал ее хозяину стойбища, велел отнести в чум.

Подошла с аргишем Ильдяна. Она бросила нераспряженных оленей на краю поляны и ушла в чум, откуда тотчас донеслись голоса двух женщин. Женские языки легко связываются в один узел.

Улукиткан отсек от туши изрядный кусок белой, как снег, грудины, несколько ребер, уложил мясо в котел и повесил его на огонь. Отхватил острым ножом часть еще теплой печенки и съел ее сырой — до чего же она сладкая да сочная, сама тает во рту, язык не успевает облизывать губы. Потом он отпустил пастись оленей, достал потки, постели. Хорошо бы чум поставить и эту ночь провести в тепле, но потемну не собрать шестов для остова и не хватит шкур, чтобы его закрыть, большая их часть потонула вместе с нартой и с оленями на страшной переправе. «Ничего, — успокоил себя эвенк, — с жирным мясом и хорошим костром можно провести ночь и под открытым небом...»

Женщины, накормив сохатиной детей и уложив их спать, присели к очагу. Сквозило холодом. Ильдяна продолжила рассказ о том, что случилось с ними в этот день. начав с того, как они радовались рождению желанного сына, как хорошо началось их кочевье с Этматы. Да, ви-

дать, добрым духам надоело даром заботиться о бедных кочевниках, и они отступились. А злой дух Харги, конечно, воспользовался этим и наказал Улукиткана и Ильдяну, отняв у них сына. Огда — хозяйка чума слушала ее, и из узких щелочек ее глаз катились одна за другой теплые слезы. Она их ладонью растирала по лицу.

А на поляне догорал костер. Темнота разлилась по бескрайней тайге. Сливаясь с небом, слабо маячили во мраке заречные холмы. Ночную тишину баюкал перезвон бубенцов на шеях оленей. Наконец-то можно расправиться с голодом. Мужчины вошли в чум. Скинули дошки у входа. Присели на бревна к огню. И женщины заботливо принялись кормить мужчин.

Вначале подали чай. Он развяжет языки. Новостей у каждого полные потки. Хорошо ими обменяться.

Хозяин сидит против Улукиткана. Вытащив из-за пазухи самодельную ольховую трубку с длинным таволжаным чубуком, он острым концом ножа почистил ее в знак уважения к гостю, набил табаком, подал Улукиткану. Тот прикурил от уголька, несколько раз затянулся, вернул ее хозяину.

Его зовут Нюкулапдя — большой Николай. Худой и длинный, как жердь, выглядит он старше своих пятидесяти лет. Широкое морщинистое лицо заканчивается клинообразной седой бородкой, беспорядочно смятой. Толстые, сдвинутые брови нависают над зоркими глазами, в глубине которых таится то ли печаль, то ли какая-то боль. Плечи неровные. Правое еще в юности помял амакан, от этого оно немного усохло. С детства он был обременен всеми житейскими недугами и заботами, да и сейчас жил в тисках беспросветной нужды. Это было видно по его одежде, по чуму, по утвари, по детям, по тому, как низко клонилась его голова. А в его движениях, в голосе чувствовалась покорность року.

Он допил чай, ребром ладони аккуратно вытер губы.

Накинул на плечи дошку, уж очень сквозило. Подождал, не заговорит ли первым гость.

Но Улукиткан молчал. Как никогда, тяжело было у него на сердце. Он теперь не знал, куда ему вести свой аргиш, точно внезапным половодьем залило и смыло все пути, которыми еще вчера он думал кочевать.

Нюкуландя подживил огонь. В зыбке пробудился и заплакал ребенок. Ильдяна вздрогнула всем телом, захлебнулась глотком чая и закашлялась. Но она удержала слезы. А Огда подтащила к себе зыбку, взяла на руки спеленатого ребенка и, наклонившись к нему, заулыбалась всем лицом. «Счастливая!» — горько позавидовала Ильдяна. А та, словно угадав ее мысли, вдруг повернулась к ней и, все еще улыбаясь, протянула ей ребенка. Ильдяна растерялась, но, подчиняясь какому-то могучему чувству, поспешно схватила его, ловко развязала вязки на своем платье, раскрыла набухшие болью, полные молока груди, стала лихорадочно всовывать в рот крикуна упругий сосок. И обе матери молча наблюдали, как малыш, захлебываясь, глотал молоко, а насытившись, снова уснул на руках у Ильдяны...

Нюкуландя не дождался, когда Улукиткан раскроет рот, хотя принято перед началом еды послушать гостя. Он снял с огня котел с мясом, передал жене. Она знает, что дальше делать. Налил себе чаю, но пить не стал.

— Осеневал на побережье, — начал он тихим, кротким голосом. — Кету добывал. Хорошо шла. Много юколы заготовил, да одной кетой ведь не проживешь. Ее никто не покупает, у всех ее сколько хочешь, даже горсти муки не выменять. Потому сюда пришел, люди сказывали, с осени тут густо держалась белка. Думал, если ладно добуду, в Удское пойду покрутиться с купцами, да не вышло. Белка оставила нам пустые гайна да редкие следки на снегу. Вся ушла в другие места. За ней на моих заморенных оленишках разве угонишься? В пустой тайге и одному не прожить, а у меня вон их сколько, —

он кивнул на спящих детей, — шестеро на одно ружье. Вот и маюсь. Беда, друг, беда! Услышал лай твоих собак, на сердце маленько потеплело, думаю — люди близко, может, добрый совет дадут, как из нужды выбраться. Была бы добрая собака — ушел бы на Эдяду-Чайдах за соболем, там его место, да где ее добыть? Возьми половину моих оленей за своего рыжего кобеля. А? Хорошо даю. У тебя еще есть две собаки...

Нюкуландя умоляюще смотрел на Улукиткана, молодого и сильного, ждал его ответа. А Улукиткан только теперь заметил, как глубоко ввалились у Нюкуланди глаза, на одном из которых было бельмо. Скуластое лицо в морщинах, исщерблено ветрами и стужей, руки жилистые, со скрюченными пальцами. И весь он какой-то нескладный, надломленный, в засаленных лосевых штанах и хлопчатобумажной рубахе неопределенного цвета.

— Качи — кормилец, — задумчиво, помолчав, сказал Улукиткан, протягивая руку к чайнику. — Без него в тайге все равно что без ног. А те две черные собачонки сами ничего найти не могут, даже свой след теряют. Их и даром никому не нужно... А насчет белки ты правду сказал, густо была с осени, да ушла, бросила свои грибные запасы, подалась ближе к ельникам, холода чует. Кочуй к вершине Индикана, там должна быть удача.

Мясо ели молча, долго и прилежно. Нюкуландя вскоре отпустил на животе ремень. Подсунув под себя кривые ноги, он выхватывал из берестяного чумана дымящийся кусок мяса, прикусив его сильными зубами, резким движением ножа отсекал от него изрядную долю и, не жуя, проглатывал, после чего сладко облизывался. Так поступали все — ловко работали ножами, набивали желудки нежеваным мясом. Потом курили, пили чай и снова ели. Хозяин толмачил о море, о нерпичьем промысле, о кете и снова возвращался к Качи, в который раз повторяя, что хоть у него ничего нет, кроме оленей, но он готов половину их отдать за собаку. Улукиткан

ничего не отвечал, и они снова брались за ножи, обсасывали кости, ели и пили, пока у каждого совсем не отяжелели животы.

Улукиткан принес дров — огонь не должен за ночь потухнуть, иначе его не так просто, без спичек, добыть. Хорошо, если в золе сохранится горящий уголек.

Ильдяна собрала всю посуду: чашки, кружки, ложки и по-хозяйски тщательно вылизала и облизала все, затем вытерла подолом своей широченной юбки и уложила в потку. Потом Ильдяна вышла из чума, отсекла ножом от сохатиной туши жирный пласт мяса, измельчила его, сложила в котел и, вернувшись, повесила на костер вариться. Ночью каждый может встать, выбрать в котле любой кусок сохатины и подкрепиться, чтоб теплее было спать. Когда мяса много, нечего его беречь, надо вдосталь насладиться свежениной.

Перед сном мужчины вышли из чума. После жирного мяса легко на душе, но тяжело брюху. Нюкуландя вскинул голову, осмотрел звездное небо.

— К утру закуржавеет лес, белка рано пойдет кормиться. Эх, была бы собака...

Заслышав людей, обрадованно взвизгнул Качи. Улукиткана задело за сердце это знакомое и привычное изъявление собачьей преданности. «Нет, и за стадо оленей не променяю тебя. Отдам старику даром одну из черных собачонок», — твердо решил он.

Гости устроились спать у входа в чум. Да разве уснешь в таком горе. Забравшись под шкуры, Улукиткан и Ильдяна долго и горячо шептались между собой. Не раз всхлипывала Ильдяна, в чем-то убеждая мужа. Тот тяжело вздыхал, ворочался. И уснули они далеко за полночь.

Неторопливое утро вставало из-за темных далеких хребтов. На небе потухали слабые звезды, высвеченные светом зари. Стук дятлов заглушал редкие звуки зимнего леса. С проблеском солнца проснулись птицы, послыша-

лись посвист рябчиков и щебет суетливых синиц. На холмистых отрогах прорвали туман острые вершины елей. Все было так, как вчера, как год, как сотни лет назад — неизменно.

Улукиткан поднялся рано, после ночного разговора с Ильдяной и ее слез он долго не мог уснуть, не выспался. Не знал, как поступить, прикидывал и так и этак — очень трудную задачу задала ему жена. Он раздул очаг в чуме, подложил побольше дров — пусть тепло костра растревожит спящих. Вышел наружу. За холмами, за темной грядой лохматых лиственниц и островерхих елей, отбеливалось утро.

Завидев его, забеспокоился привязанный к ели Качи. Улукиткан резко повернулся на его голос и почти побежал к собаке пьяной, шаткой походкой. Сморщившись от какой-то мысли или боли, он пал на колени перед Качи и первый раз в жизни обнял собаку. Дрожащими губами он что-то взволнованно говорил ей, крепко прижимая к себе.

Из чума вышел Нюкуландя. Громко зевая, он вскинул сонные глаза к небу, уже посветлевшему, обещающему погожее утро, приметы доброго дня. Подошел к огнищу, разворошил золу, собрал в кучу горящие угольки и, наложив на них щепок, раздул костер. Над костром он повесил котел с мясом и два медных чайника. Улукиткан отрубил от туши сохатого жирное стегно, положил его на свои нарты, а остальное мясо предложил Нюкуландe. Затем присел со стариком к огню. Пока женщины одевали детей, убирали постели, мыли посуду, между мужиками шел деловой разговор.

— Мы с женой ночью посоветовались, решили отдать вам Качи. Ты правду сказал, что без собаки с такой оравой тебе, однако, не выбраться из беды, — говорил глухо Улукиткан.

— Хорошо, спасибо, — отвечал растроганный Нюкуландя. — Добром за добро отплачу, когда наши тропы

снова сойдутся. А оленей бери половину, выбирай, глаза у тебя острые.

— Оленей твоих не возьму, не нужны мне, а вот... — Улукиткан хотел еще что-то сказать, но в нерешительности только покрутил головой.

— Нет у меня ни соболей, ни белок, — смущенно сказал Нюкуландя. — А даром я кобеля не возьму.

— Нет, не даром. Поменяемся: я тебе собаку, а вы моей бабе сына самого младшего, грудного отдайте, пусть он заменит нашего первенца. Только не думай, что я зла хочу, много прошу. Качи уже в три года стал вожаком в упряжке. Редко какой зверь уходит от него, на медведя идет один, азартный на соболя. Какое твое слово? Говори.

Нюкуландя удивленно уставился на него зрячим глазом. Что-то растерянно промычал.

— Огда! — окликнул он жену. — Иди сюда, есть разговор. — И, повернувшись к Улукиткану, тихонько сказал: — Она родила его, послушаем, что скажет. Может, согласится...

Огда, озабоченная материнскими хлопотами, подошла к костру, тяжело опустилась на колоду и глянула вопросительно на мужа.

— Улукиткан хочет менять своего кобеля на нашего сына, говорит, что его жена так хочет, шибко просит. Что ты скажешь?

Огда продолжала смотреть на мужчин усталыми и покорными глазами. Ни единым движением, ни выражением лица она не выдала того, что творилось в материнской душе. А может быть, она даже почувствовала некоторое облегчение оттого, что избавляется от ребенка, ведь у нее, кроме младшего, вон сколько детишек, да и еще могут родиться. Кивнув утвердительно головой, она ушла в чум, не сказав ни единого слова.

— Видишь, она согласна, — сказал Нюкуландя, — только матери больно сказать эти слова. Что же,

пусть сын будет твоим, бери, не понравится — разменяем...

Улукиткан ничего не ответил, сидел задумавшись. Разве мог он еще вчера подумать, что расстанется с Качи? И что он теперь будет сам делать без своего первого помощника и кормильца? Но тут из чума появилась довольная Ильдяна с ребенком на руках, она ласково улыбалась ему. Улукиткан, не выдавая своих горьких дум, улыбнулся жене.

Нюкуландя все-таки упросил взять в придачу две старые сохатиные шкуры да медный котел. На том и кончили обмен.

Ильдяна достала из зыбки замерзший трупик сына, на его место положила выменянного ребенка. Улукиткан в ельнике вырубил три жерди, положил их горизонтально между двумя лиственницами на высоте человеческого роста и к ним привязал завернутого в шкуру мертвого сына. Так по-эвенкийски принято было хоронить покойников. Молодые родители вместе с сыном похоронили и свое горе. Материнское чувство связывало уже Ильдяну с живым ребенком, хоть и не ею рожденным, но сосавшим теперь ее грудь и оттого ставшим ей родным. Вернувшись к костру, она стала торопить мужа скорее покинуть стоянку. Боялась: чего доброго, мать раздумает, отберет ребенка, что тогда ей делать?

Не стали дожидаться завтрака. Улукиткан пригнал и запряг оленей, выпили по кружке чаю, сложили постели и потки на нарты, стали прощаться с хозяевами.

— Куда аргиш поведешь? — спросил Нюкуландя Улукиткана. Тот неопределенно пожал плечами:

— На реку выедем, там решим.

— Мы тут еще дня три стоять будем. Если не понравится наш сын — приходи за кобелем, — сказал Нюкуландя, пожимая руку Улукиткану.

Загремели бубенцы на шеях оленей, взметнулся и заскрипел под копытами и полозьями снег, потянулся ка-

раван через перелески к реке. А вслед ему несся отчаянный вой Качи. Улукиткан поводным ремнем настегивал оленей, спешил уйти от этого воя, приглушив в себе щемящую боль разлуки с верным четвероногим другом и помощником.

Когда холмы остались позади и смолк жалобный голос Качи, Улукиткан замедлил бег оленей. Направил аргиш вниз по реке, хотя сам еще не понимал, почему этот путь выбрал. Но не все ли равно теперь, куда ехать, чего искать, если на душе нет никаких желаний. И Улукиткан печально запел. По тайге разлился монотонный, протяжный напев, состоящий из добрых слов об Ильдяне, Нюкуланде и его жене, уступивших им своего сына. Пел он и о том, что хорошо жить в тайге с сыном, а собаку достать и вырастить легче, чем мальчишку...

— Моод... Моод... — подбадривал он оленей и снова продолжал свою песню.

Далеко ушел аргиш от стоянки. Широко распахнулась долина, залитая солнечным блеском морозного дня. Улукиткан оглянулся — мутная синева пространства поглотила отрог, за которым остались Качи, дырявый чум Нюкуланди, голодная детвора и их никогда не улыбающаяся мать.

— Маленько остановись! — крикнула Ильдяна.

Улукиткан задержал оленей. Замерли бубенцы. Посмотрел на жену, спрашивая глазами, что случилось. Сошел с нарт, подошел к ней.

— Что тебе?

— Мы даже не посмотрели, мальчика ли выменяли. А если это девочка? — с тревогой произнесла она.

— Давай посмотрим, не должно бы, чтоб нас обманули, — ответил убежденно Улукиткан.

Ильдяна достала из зыбки младенца, завернутого в шкуру, размотала широкий замшевый ремень, разбросала края меховых пеленок — и громко ахнула, всплеснула руками и бессильно опустилась на край нарты. Улукит-

кан склонился. То, что увидели они, было сверх ожиданий. Перед ними, щурясь от солнца, лежал мальчик — смуглый, породистый эвенк. Но калека: ступни малыша были вывернуты внутрь.

Ильдяна, закрыв ладонями лицо, заплакала. Улукиткан стоял рядом безмолвный, не зная, что сказать жене, как успокоить ее. Он суеверно подумал, что все это проделки духа убитого медведя, это он затуманил им головы, не дал как следует рассмотреть, что выменяли.

— Вместо добра взяли себе на всю жизнь горе, — всхлипывая, говорила Ильдяна полным безысходности голосом. — Нюкуландя сказал, что они три дня кочевать не будут, что, если не понравится нам их сын, он отдаст назад Качи. Может, повернем оленей на свой след, — предложила она, — как ты думаешь?

Улукиткан молчал. Долго топтал под собою снег, в раздумье переваливаясь с ноги на ногу.

— Почему молчишь? — поторопила Ильдяна. — Может, успеем засветло разменяться.

— У Нюкуланди на его две руки семь ртов — беда! Да еще чум дырявый, оленешки худые, и в потках нет даже горсти муки. Что он будет делать без Качи? А?

Ильдяна жалобно смотрела на него полными слез глазами.

— Зачем гнать оленей по пройденному следу, отнимать у бедного счастье, — продолжал Улукиткан, успокаивающе положив руку на плечо жены. — Считай, что мы его калекой родили, будем растить его такого, какой есть. Пусть остается с нами...

Ильдяна полой парки вытерла слезы на лице, подумала и согласно качнула головой.

— Пусть так и будет, — покорно ответила.

Она запеленала раскричавшегося младенца и, приложив его к груди, стала кормить.

Рядом присел Улукиткан. Они молчали. Долго, очень долго молчали, будто забыли, что надо продолжать путь...

Улукиткан оборвал свой рассказ, пододвинулся ближе к костру. Но видно, что он все еще был во власти воспоминаний.

С Утука на наш табор налетел холодный ветер, раздул костер, качнул черные купы стлаников и унесся в ночь.

Из-за хребта показалась щербатым осколком луна. Упали в провалы величественные тени вершин. Василий Николаевич налил всем горячего чая.

— Что же дальше было с сыном? — спросил я.

Улукиткан не сразу ответил.

— Вырастили Чильго — так мы его назвали, и потеряли, так потеряли, что следа не нашли, куда делся, все равно что утонул.

И, усевшись поудобнее, продолжал свой рассказ:

— Много зим прошло с той поры, как выменяли на кобеля сына. Мальчишка рос не так, как все, трудно. Жена шибко много терпела, мучилась с ним. Он даже из чума не мог сам выходить, ноги не держали, кривые, они не знали лыж. Руки не приучились держать ружье, ставить капканы, петли. Он совсем не разбирался в следах зверей. Постоянно был возле матери, старался делать то же, что делала она. Научился шить рукавицы, унты, лучше матери расшивал бисером узоры на олочах. За них купцы давали на ярмарках две-три цены, нам от этого жить становилось легче. И мы не жалели, что оставили его у себя. Но сын нам часто так говорил: выросту, пойду искать свою родную семью, буду помогать родному отцу. А ему на костылях никуда и от чума не уйти. Он попросил Ильдяну выделать для него большую сохатиную шкуру. И больше года не отрывался от

нее, шил, много шил, всю лосину покрыл разноцветным бисерным узором, видны на нем также и упавшая хвоя, и мелкий сушняк, и следы зверей и птиц. А спелая ягода брусника точь-в-точь как бывает в тайге. Брось эту расшитую сохатину в лесу на землю и не сразу догадаешься, что это человек сделал. Шибко хороший был мастер.

Старик снова надолго умолк, освещенное пламенем костра лицо его было задумчиво.

Василий Николаевич подбросил в огонь дров. Луна спряталась в тучах, стало еще темнее вокруг.

— Как-то осенью мы с Ильдяной весь день собирали оленей, — продолжал Улукиткан, зябко подрагивая плечами и все ближе пододвигаясь к костру. — В тот год грибов в тайге было шибко много, мы распутали оленей, чтоб они досыта наелись грибов. А непутевые далеко уходили, не так скоро, просто было найти их в тайге. Вечером вернулись мы на табор — огнище холодное. Заглянули в чум — никого.

Крикнул — никто не отозвался. Понял, что сын ушел... Совсем ушел... Слова не сказал. Долго и напрасно мы его искали. На пути травы не примял, ни одного камня с места не стронул — без следа пропал. Оставил нам только расшитую брусничником лосину да полный чум горя.

Старик помолчал. Передохнул. С его лица не сходила печаль воспоминаний.

...Никто нигде не видел парнишку на костылях. Много лет и зим Улукиткан и Ильдяна не могли забыть приемного сына. Далеко кочевали по тайге, напрасно искали его след. Наступил один год, на редкость удачливый, все эвенки его помнят. Хорошо добыли пушнины и потянулись к Учурской часовне покрутиться с купцами. Поставили чумы на берегу реки. Много было на ярмарке

всякого народу: лючи, якуты, эвенки, разные начальники, попы — у каждого до охотников дело. Все добрые, угощенье дают, спиртом задарма поят, того и гляди так окрутят, что уедешь с ярмарки с пустыми потками, да еще расписку оставишь купцу, что должен ему триста, а то и больше белок. На ярмарке Улукиткан увидел вроде знакомого мужика, подошел, присмотрелся — Нюкуландя! Унты продает. Шибко красивые унты! И Нюкуландя узнал его, обрадованно оглядел своим единственным глазом, руку протянул. «Здорово, паря, здорово! Вот как встретились. Давно ли из тайги?» А Улукиткан сразу повинился перед ним, что потерял его сына. На Нюкуланде была добротная парка, заячья шапка и широкие лосевые штаны. Видать, разбогател человек. Улукиткан не утерпел, спросил: кто ему шьет и украшает так богато унты? Нюкуландя говорит: женщины их рода большие мастерицы шить унты, но им далеко до его сына-калеки Чильго — он шил эти унты. Значит, жив! Обрадовался Улукиткан. А Нюкуландя сказал, что Чильго здесь, с ним приехал, и потащил Улукиткана в свой чум. А там уже Ильдяна плачет от радости, что увидела Чильго. Это он помог семье Нюкуланди поправить свою жизнь, наполнил потки продуктами, одел всех. Радовались Улукиткан и Ильдяна: недаром, значит, они столько возились, долго мучились с Чильго, хороший человек вырос...

Время было за полночь. Улукиткан встал, растер затекшие от сидения коленки, поглядел на небо. На стоянку наваливались бесконтурные облака, тревожа уснувшую землю недобрым знамением.

— Что же дальше случилось с Чильго? Встречался ли ты еще с ним или с Нюкуландей? — спросил я старика.

— Тогда на Учурской часовне хорошо договорились — встретиться через пять зим на вершине речки

Маймакан. Чтобы не забыть, на палочке пять зарубок сделали, раскололи ее пополам — ему и мне. Каждую зиму я срезал по зарубке. Когда одна осталась, кочевал на Маймакан. Да напрасно так далеко маял оленей — Нюкуландя не пришел.

— Что-нибудь случилось?

Улукиткан пожал узенькими плечами.

— Люди говорили, что Чильго взяли в город учить других, как делать красиво обутки, камаланы.

Старик кормит свою собаку, терпеливо ждавшую, когда хозяин обратит на нее внимание. Василий Николаевич уходит спать в палатку. А мы решили докоротать ночь у костра. Я подтаскиваю к огню толстый стланик, наваливаю концами на жар. Забираюсь в спальный мешок. Какое блаженство, когда ты наконец, закончив суетный день, можешь уснуть, вытянувшись во всю длину и дыша свежим горным воздухом.

Когда я уже засыпал, пошел снег, открытое лицо острыми булавочками покалывали редкие снежинки. Под утро не на шутку разгулялась пурга. Завыли ущелья. Не стало видно ни земли, ни неба.

Непогода загнала нас в палатку, где Василий Николаевич уже затопил печь. Пьем чай, прислушиваемся к вою бурана.

— Там, на гольце, теперь ходу нет, — задумчиво проговорил Улукиткан.

Я понял его. Он думал об астрономах. Конечно, они и сегодня дежурят на гольце, ждут-гадают — не разгонит ли ветер тучи.

Даже у нас здесь, в относительном затишье, немыслимо покинуть палатку.

За полотняной стенкой незаметно наступает день. Тучи, как хмельные, спотыкаясь с вершины, валятся на юг.

— Однако, ходить буду, искать оленей, а то уйдут далеко, след заметет, потом не найдешь, — спокойно заявляет Улукиткан и начинает одеваться.

— Куда тебя понесет в этакую пропасть?! — вскидывается Василий Николаевич.

— Ничего. Сейчас не пойду — потом хуже будет. — Старик меняет стельки в унтах, тщательно обувается. Туго перепоясывает ремнем дошку, шею перевязывает стареньким шарфиком, сдвигает на глаза ушанку. Ощупывает за пазухой карман — есть ли спички. Берет посох и вылезает из палатки в завывающую пургу.

Василий Николаевич, застегивая за ним вход в палатку, продолжает ворчать:

— И когда только он успокоится! Ведь девятый десяток. Можно же было переждать, так нет...

Тихо потрескивает в печке сухой стланик. Пьем чай и молча ждем возвращения старика. Ожидание переходит в беспокойство. Я одеваюсь и тоже выбираюсь из палатки. Тотчас на меня накидывается непогода. Сыпучая поземка слепит глаза, сечет лицо. Воют земля и небо. Пытаюсь звать Улукиткана, но крик мой глушит свирепый ветер. Надо идти искать старика.

Я обхожу всю седловину. Возвращаюсь на табор. В сугробах затихает поземка. Шагать стало легче, хоть погода все еще свирепствует.

Оказывается, Улукиткан уже пригнал оленей. Они стоят привязанные у палатки. А сам он разбирает вьюки, раскладывает их по седлам. «Неужели готовится в путь? — думаю встревоженно. — Ведь вчера договорились, что он вначале проводит нас и тогда уж отправится на свое стойбище. Почему передумал?»

— Вы только подумайте, — встречает меня взволнованный Василий Николаевич. — Улукиткан решил ехать к астрономам, боится, что с ними случилась беда. Не могу отговорить.

— Послушай, Улукиткан, — я подхожу к нему. — Ты с ума сошел, в такую погоду подниматься на голец?! Ничего с астрономами не случится, они не маленькие, знают, что делать.

— Может, знают, да поленятся, — спокойно возражает он. — Я им к палатке ремни привяжу, куда лучше веревок, не порвутся. И помогу мало-мало дрова натаскать, огонь буду караулить.

— У них для этого есть рабочий и каюры, зря сгоняешь оленей и сам намаешься.

— Лучше сейчас напрасно сходить, чем потом долго жалеть, что не пошел, не помог, когда надо было...

— Но ведь ты же знаешь, что Иван Иванович человек бывалый и осторожный, — не отступаю я.

— И с бывалым беда случается, — рассудительно говорит старик.

— Уж если тебя тревожит судьба астрономов, сегодня или завтра прилетит за нами вертолет, и мы слетаем с тобою на голец, чтобы ты убедился, что там ничего не случилось.

— Э-э... — энергично отмахивается Улукиткан. — Такая погода не на один день, пока он прилетит, я на оленях туда-сюда схожу.

— Ноги ему спутать, и весь разговор! — советует Василий Николаевич.

Но ни уговоры, ни угрозы не помогли. Старик попрежнему твердо верил в себя, хотя видно было, что силы, глаза, слух у него далеко не те, что прежде. Но я понимал, что уж коль в нем зародилось беспокойство за людей, то он жилы порвет, разобьется, но изо всех сил будет стремиться к ним.

И я сдался.

— Хорошо, ты пойдешь на голец, но с Василием Николаевичем. Одного тебя не пущу. Это мое последнее слово.

— Ты, однако, на меня уже совсем не надеешься, — сказал он с горькой обидой, но покорно согласился, — ладно, пускай идет и Василь. Двоим лучше, чем одному...

— С тобой хоть на край света! — положил ему на

плечо руку Василий Николаевич. — А собираться мне — раз плюнуть!..

— А как подниматься будете на голец по такой погоде? Найдешь тропу? — спросил я.

Улукиткан удивленно посмотрел на меня, сокрушенно пожал сухонькими плечами.

— Видать, худо думаешь обо мне, если так спрашиваешь...

Я обнимаю его, прижимаю к груди.

— Прости, Улукиткан, я совсем не хотел тебя обидеть, боже упаси! Видишь, как вьюжит, вот и беспокоюсь.

Вьюки готовы. Мы забираемся в палатку. Нас встречает запах свежеиспеченного хлеба и вареного мяса. Я усаживаю Улукиткана рядом, Василий Николаевич пододвигает нам лист бересты с огромными кусками отварной сохатины, наливает в кружки жирного бульона и разламывает свежие, пахучие лепешки. Мы с аппетитом, плотно завтракаем. Тишину нарушают порывы все еще ревущего ветра.

После завтрака вьючим оленей. Ветер, сталкивая мрачные тучи за хребет, злобно хлещет по щекам, будто предупреждает, что не пощадит и путников. Но я уже не отговариваю, не упрашиваю старика — бесполезно. Смотрю с грустью на него, какой же ты старенький-старенький, но сколько еще в тебе молодости и энергии. Как тяжелы для тебя стали вьюки, как трудно твоим шишковатым пальцам стягивать подпруги, но как ты уверенно и безропотно все это делаешь, одержимый желанием нести людям добро — в этом ты весь! Откуда ты черпаешь столько силы?!

А Улукиткан, будто угадывая мои мысли, поворачивается лицом ко мне и говорит:

— Приезжай еще. Только не откладывай, не те годы долго ждать, — голос его наполняется печалью. Он нервно царапает свою бороденку скрюченным пальцем, гля-

дит на меня добрыми и скорбными, широко раскрытыми глазами.

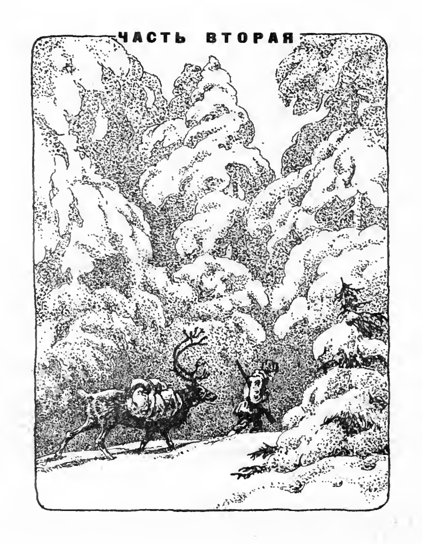
— Буду жить надеждой, что когда-нибудь вернусь сюда, и мы еще поохотимся на снежных баранов, — отвечаю я, чувствуя слезы на глазах. — А ты тоже не торопись к предкам. Ты очень нужен людям. Ой, как нужен!

— Ладно, я подожду умирать, только приезжай. А если наши тропы больше не сойдутся, помни старого Улукиткана, Становой, Маю, Трофима под Сагой, Майку... И как я, слепой, вел тебя по тайге. Спасибо тебе, что мы долго были вместе, — на его лоб набежали да так и остались глубокие тени морщин, глаза затянуты прозрачной влагой, — однако, прощай!

Мы обнимаемся. Крепко жмем друг другу руки. И Улукиткан уходит впереди своего каравана в бушующий буран, навстречу опасности, вечно обремененный заботами о людях.

Больше мы с ним не встречались.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ





— Борись, и, умирая, борись! — сказал старый Уйбан.

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Да, больше мы с Улукитканом не виделись.

О последних днях его жизни мне рассказали его родные и близкие. Рассказали все, что им было известно о трагической кончине старого следопыта, не дожившего всего несколько лет до своего столетия. И мне очень живо и отчетливо представились его состояние и переживания в эти последние дни и часы его долгой и необыкновенной жизни.

Вот как это было.

...Смеркалось медленно. Ветер выл голодным зверем, налетая на заснеженные избушки эвенкийского селения. По обширной Зейской долине гулял лютый буран. Он

мчался своей извечной дорогой от Охотского моря через прибрежный Джугджурский и Джугдырский хребты и, падая с высоты на равнину, силился сровнять с землей все на своем пути, валил лес, забивал снегом тропы, наметал по марям длинные и глубокие сугробы.

Старик Уйбан, перебрав все приметы, заключил, что конца непогоде не предвидится, сходил в сосновый бор, прислушался к гулу леса, но ни единой обнадеживающей нотки в нем не уловил, ничего утешительного не добыл. И худыми словами поносил старик непутевую погоду...

Жители Бомнака, большого эвенкийского стойбища, в эти бурные вечера рано зажигали в избах огни. Не слышалось обычного людского гомона, стука топоров, собачьего лая. Олени кормились близко за поскотиной, боясь далеко уходить от людей. Ни единого человека не было на забураненных улочках. Кому охота морозиться!

Поселок стоит на крутом берегу Зеи. Его левый край складами, баней, длинными поленницами дров, огородами прижался к реке, а правый вылез на крутяк, к березнику, наступающему с ближних бугров. Поселок давнишний. Жители не помнят, кто первым из эвенков и когда поставил свой чум тут, на устье шумливой речки под названием Бомнак, и почему приглянулся ему этот крутой берег против острова, когда выше и ниже по Зее куда живописнее места? Первый поселенец построил на толстых столбах лабаз и в него сложил свой скудный скарб. Каждый год отсюда уходил аргиш — на промысел в безлюдной тайге пушнины, зверя, рыбы — и сюда же возвращался с добычей.

С годами семья первого поселенца разрослась. На стойбище прибавилось чумов. Крутой берег Зеи стал для многих эвенков родным домом. Жили в нем трудно, по древним законам кочевников, в чудовищных тисках нищеты, суеверий, жестокой несправедливости.

Буран уже несколько дней властвовал над Зейской долиной. Он наваливался на поселок со всех сторон, вры-

вался под крыши изб, гудел и свистел в печных трубах. Как бы вторя бурану, где-то на краю стойбища протяжно, тоскливо выла собака.

В избах долго не гасли огни. Завтра, если хоть немного утихнет буран, должен начаться пушной промысел. И на стойбище нет семьи, чтобы кого-нибудь не провожали в тайгу. А у охотников думы об одном — видятся уже им соболиные следы, рысьи морды, капканы, костры в сумраке безлюдной тайги, сон в палатке или шалаше.

Обо всем этом думает и Улукиткан. Ему девяносто три года, но он тоже собирается в тайгу, не хочет отставать от охотников. Конечно, он понимает, что теперь ему уже не до охоты, силы уже далеко не те, что прежде, но он не может быть без леса, без костра, без пурги, душен ему зимний воздух на стойбище, а изба кажется клеткой. Старик с вечера втащил в избу нарту, разобрал ее, заменил вязи, проверил ремешки, приладил новый березовый лучок. Оставалось проверить упряжные ремни — и можно отправляться в дорогу.

Время высушило старика. Он стал маленьким и почти невесомым. Спину сгорбила трудная жизнь. Лишь глубокие и чистые, как у ребенка, глаза оживляют его морщинистое лицо. Они смотрят на мир ласково, доверчиво и мудро, каждая мысль или затаенное чувство мгновенно отражаются в них.

Кто-то на крыльце похлопал варежками об унты, сбивая снег, потом долго шарил по двери руками, ища скобку. Улукиткан поднялся и отворил дверь, и вместе с волной холодного воздуха в избу вошел старик Уйбан — старейший на стойбище, ему было уже давно за сто. Он долго протирал рукавом дошки подслеповатые, покрасневшие на ветру глаза, молча кивнул хозяину в знак приветствия и, подойдя к железной печке, уселся на скамеечке, с трудом отдышался.

Все в нем обличает бедняка кочевника. Одежда на нем с чужого плеча, сильно поношена, в многочисленных

латках. Лицо широкое, скуластое, с приплюснутым носом, с крупными чертами. Из-под седых, сурово сдвинутых бровей и глубоких темных впадин грустно выглядывают слезящиеся старческие глаза.

— Как думаешь, когда погода передурит? — первым заговорил Улукиткан.

— Ветер переменился, подул с заката, значит, должен перебороть непогоду, — ответил гость.

— Хорошую новость принес ты, Уйбан.

— Можно ехать, — убежденно сказал Уйбан. — Куда след потянешь — на Чайдах или Оконон?

— Нет, решил на Аргу кочевать. Нынче настоящих холодов еще не было, белка должна быть на открытых местах. А ты как бы решил?

— Не тебе у меня спрашивать. Всем известно, куда ты ни поедешь — везде тебе удача...

— Не те годы, Уйбан, — с грустью сказал Улукиткан, подливая чаю в кружку старика.

Они впервые встретились в чащобах далекого Удыгина, куда в те времена со всех сторон материка стекались тоненькие звериные стежки. Однажды зимой Улукиткан добывал, заготавливал там мясо. Преследуя сохатого, на крутом спуске гольца сломал лыжу, упал и вывихнул ногу. Его отыскала жена. Она привезла Улукиткана в чум, но больше ничем помочь не смогла. И никого поблизости не было. Пришлось отправиться далеко, в Шевлинскую тайгу. Она день и ночь гнала оленей, пока не разыскала костоправа Уйбана. С ним и вернулась на Удыгин. И через неделю больной встал. С тех пор на всю жизнь почувствовал себя Улукиткан неоплатным должником Уйбана.

Улукиткан плотно укладывал сумочки, свертки, банки с продуктами в кожаную потку. А Уйбан с грустью наблюдал прищуренными глазами за каждым его движением, молча переживая всю горечь и беспомощность своих старческих лет.

Над свежими снегами, завалившими стойбище, над березниками и холмами вставал рассвет. По реке ветерок выстилал серебристый туман. А над стойбищем уже раздавались обычные звуки утра. Лаяли нетерпеливо собаки, предчувствуя выход в тайгу. Кричали пастухи, пригнавшие с ночной кормежки оленей для отъезжающих в тайгу охотников.

Лишь взойдет солнце, обласкает настывшую землю, как от стойбища во все стороны тронутся охотничьи нарты. У каждого из охотников есть свое заветное место в тайге, свои мечты и удачи. Они будут гнать оленей, торопиться. В песнях своих на этом долгом пути они прославят тайгу, осчастливят себя соболями, белками, выдрами. Нет большей добычи, геройства, как в песнях звенка. Ничего, что они однообразны, — в них его желанная мечта.

Старики, дожидаясь, когда сын Улукиткана Басиль приведет во двор оленей, пили чай.

Распахнулась дверь. В избу вбежала внучка Улукиткана Светлана.

— Доброе утро! — задорно крикнула она и, увидев Уйбана, подошла к нему.

— Ты дедушку пришел провожать?

— Ага.

— Лучше бы уговорил его не ехать на охоту, — она понизила голос. — Он нас не слушает. А в его годы долго ли до беды! — Явно пересказывала слова кого-то из взрослых.

— Беду кликать не надо, — Уйбан поймал в свои ладони холодную руку Светланы и стал тихонько гладить ее, согревать. — Пусть едет. В тайге ему легче дышать.

Улукиткан вышел на крыльцо, взглянул на стеклянное небо, на холодную заречную тайгу, на синие дали, залитые утренним светом, и его снова с небывалой силой потянуло в тайгу, в дорогу. И никакие доводы разума

уже не могли заглушить в нем этот могучий зов природы, привычку кочевника.

Басиль привел двенадцать упряжных оленей и двух учагов. На них они уедут в далекую тайгу, будут кочевать по падям, по всхолмленной Аргинской равнине, тропить соболей, гонять сохатых, брать медведей из берлог. И, вернувшись к весне на стойбище, они подытожат: о чем мечтали, отправляясь на промысел, и чего добились.

Басиль позвал отца:

— Посмотри оленей, выдюжат или какого обменяем?

Улукиткан спустился с порожка, подошел к оленям, осмотрел их, ощупал спины: ничего не скажешь — на них можно далеко аргишить.

Серебристый туман на реке качнулся, тронулся и начал таять в морозном воздухе.

Улукиткан с Басилем вывели свои упряжки на улицу. Выстроили в ряд. Впереди олени старика. У него никто из родных никогда не оспаривал права и места впереди идущего. Все верили, что Улукиткан не утратил еще чутья пути. Провожающие тоже высыпали со двора на улицу. Только Уйбан не сдвинулся с места, точно прирос к бревну. Сидел одинокий, никому не нужный.

Отъезжающим оставалось гикнуть на оленей, скатиться по готовому следу на реку и прощай надолго крутой берег. Но тут откуда-то послышался тревожный крик:

— Волки!.. Волки!..

Стойбище враз смолкло, насторожилось. По улочке от березника пронесся парнишка на крупном учаге. По тому, как устало бежал олень, как раздувались у него бока и длинно свисал язык, можно было заключить, что учаг без отдыха отмахал не один десяток километров.

— Волки в стаде! — продолжал кричать парнишка.

Эти слова, как набатный колокол, всколыхнули жителей стойбища. Люди высыпали из изб и толпой двинулись к сельсовету.

— Дурная примета — волки, — сказал Улукиткан, повернувшись к сыну. — Однако, надо пойти послушать, откуда взялись они и что будет говорить председатель.

Пошли всей семьей.

Парнишка, жестикулируя, что-то громко рассказывал. Окружившая его толпа загудела.

— Граждане! — раздался голос председателя сельсовета. — Сегодня ночью волки ворвались в наше племенное стадо, задрали более тридцати лучших маток, остальных разогнали по тайге. Пастухи просят помощи, надо собрать оленей, иначе лишимся стада.

— А что смотрели пастухи? Проспали?! С них взыскать надо! — вскричала какая-то старушка, потрясая посохом.

— Об этом потом. Кого посылать будем?

Один за другим поднялись на крыльцо пятеро охотников. Им дали час на сборы. Улукиткан с сыном вернулись домой.

Молча шли они по мерзлым улочкам. Басиль чуточку выше отца, крепкий, с добродушным лицом, в движениях родовая подвижность.

— Хорошо, Басиль, что ты первый вышел и других потащил, только не задерживайся.

— Ты дождись меня, я непременно вернусь на четвертый день, и, не мешкая, уедем на Аргу.

— Долгими покажутся эти дни.

Домочадцы обрадовались задержке. Может, все-таки удастся уговорить старика не ехать в тайгу...

Из школы прибежал правнук.

— Ты не уехал на охоту? — удивился он, увидев дедушку.

— Нет.

— Почему? — в его голосе прозвучала обида.

— Все говорят, что я стар, никудышный охотник, разве только пугать белок да соболей и гожусь, зря буду

мять ноги. А что ты думаешь? — Старику от разговора с правнуком, кажется, немного полегчало.

— Поезжай, — отвечал мальчишка и продолжал просящим тоном: — Лыжи в лесу сделаешь мне, а?.. Привезешь?

Улукиткан улыбнулся:

— Ну ради них придется поехать. Уж лыжи-то я обязательно смастерю, сами катиться будут, руки у меня на это еще способны. Только чем рассчитываться будешь, внучек? Долго не думай, ударим по рукам. А?

Тот заколебался.

— Я тебе лыжи-бегунки, а ты мне из школы — пятерки. Согласен? — предложил старик.

Правнук прижался к нему и бросил на старика лукавый взгляд.

...Наступил третий день ожиданий. Истомился старик. Место себе не находит. Руки не знает, куда девать. Ночами снились ему рысьи следы, лай собак, выстрелы, сладость сохатиного мяса. Но, пробуждаясь, он видел себя запертым в четырех стенах. Уже не верил, что когда-нибудь ожиданиям придет конец.

Еще солнце не успело скрыться за непогожий горизонт, а уж тяжелый сумрак лиственничных чащоб окутал стойбище. Откуда-то из-за реки донесся выстрел, второй, раз за разом. Точно бичом кто хлестнул по чуткой ночи. Все насторожились. Что бы это значило? Не иначе с кем-то стряслась беда, не дошел до стойбища и, может быть, разрядил последний патрон...

Где-то на краю стойбища скрипнула дверь, и кто-то натужно крикнул в беспокойное пространство:

— Угу-гу...

И опять тишина. Тучи низко неслись над поселком. Люди, собаки и даже ветер чутко прислушивались к этой тревожной тишине.

Кто бы это мог быть? С добрыми вестями или с бедой?

Ожил поселок. Где уж тут усидеть в избе! Распахи-

вались двери, калитки, люди выскакивали в чем попало, на ходу натягивали на себя дошки, телогрейки. По дощатым настилам скатывались вниз, где сквозь мрак синел широкой полосой речной лед. Давно такого переполоха не было на стойбище.

И Улукиткан заторопился. Захватив с собою ведро для воды, он выскочил на улицу, поспешно спустился к реке, где уже стояли люди.

По реке приближался большой караван. Его еще не было видно, слышалось лишь дробное пощелкивание копыт бегущих оленей. «Едут с глухой стороны, кто бы это мог быть?»

Оттуда послышался окрик каюра.

— Не наши, — заключил кто-то в толпе.

Из-за поворота, из морозной сизой мглы, выскочили две черные собаки, затем выкатилась вереница запряженных оленями груженых нарт. Передний каюр, увидев стойбище, унял бег оленей, поехал шагом, прижимаясь к островному берегу. Против проруби караван остановился. Ослабли упряжные ремни на натруженных шеях животных. С нарт повскакивали люди, и, судя по тому, как долго они выгибали спины и растирали коленки, их путь был долгим.

— Где у вас больница? — спросил подошедший к эвенкам русский, одетый в просторную доху. — Человека в тайге подобрали. Обморозился.

«Чей же это знакомый голос? Где я его слышал?.. Однако, не вспомнить», — досадовал Улукиткан.

Он поставил ведро на лед, протискался через толпу и уже хотел было спросить каюров на своем языке, кто эти люди, как вдруг тот, который был в дохе, поймал его обеими руками за воротник, повернул к себе.

— Улукиткан?! — крикнул приезжий и, не дожидаясь ответа, сбросил с плеч доху, приподнял эвенка и, прижимая к себе, закружился на льду. Толпа загудела удивленно, уважительно поглядывая на лючи.

А Улукиткан, напрягая память, пытался вспомнить, кто он, этот человек, который так обрадовался ему. Будто все: и одежда, и голос, и манера держаться среди людей — знакомо, а узнать не может. Старик даже с досадой крепко выругал себя по-эвенкийски.

— Боже, как я рад, что ты жив, что мы встретились! Арсен я! — говорил взволнованно приезжий, похлопывая ласково старика по спине.

— А я думал, кто ты? Вроде знакомый, а не догадаюсь. У старого человека память что решето — ничего не держит, — бормотал Улукиткан.

— А я не могу забыть ни тебя, ни Худорканский голец, ни пургу.

Улукиткан помолчал, видимо обдумывая слова гостя, потом тихо сказал:

— Как же, такое не забывается. Все помню. Шибко помню.

Это был инженер-геодезист Арсений Виноградов, возвращающийся из далекой тайги в жилые места. Он почему-то считал, что Улукиткан, работавший у него проводником пятнадцать лет назад, давно умер.

— Ночевать, однако, ко мне пойдем, вспоминать будем, как ходили по горам, ели жирное баранье мясо, — предложил старик.

Арсен попросил одного молодого эвенка отвезти больного человека в больницу, приказал своим спутникам поставить палатки на острове, достал из груза свой спальный мешок и рюкзак.

— Можно идти, — сказал он Улукиткану.

Толпа, не удовлетворившая своего любопытства, не узнав, что так сблизило этого лючи и ихнего Улукиткана, стала нехотя расходиться. Как-нибудь уж до утра доживут, а там непременно узнают, где такой голец — Худоркан и что такое случилось на нем, если это так запомнилось встретившимся друзьям...

Проходя мимо проруби, Улукиткан, показав на ведро, сказал:

— С таким гостем, как ты, Арсен, однако, ночь будет длинная, полведра воды не хватит для чая. Как думаешь?

— И ночи и чая не хватит, — усмехнулся Арсен.

Он зачерпнул из проруби полное ведро, и они по темным улочкам стойбища направились к избе Улукиткана.

За чаем они вначале вспоминали о разных мелочах совместных странствий по тайге, не касаясь главного, волновавшего обоих. Улукиткан расспрашивал Арсена о местах, где ему нынче пришлось побывать, богата ли там тайга белкой, держится ли в ней сохатый, какие снега — старика по-прежнему все интересовало. Сам он рассказал гостю о последних событиях на стойбище, о приметах нынешней зимы.

Женщины и дети уже давно спали. Смолк движок у реки, и в поселке погас электрический свет. В окно заглядывала заиндевевшая луна. Улукиткан зажег керосиновую лампу.

— Однако, пора спать, — предложил он.

Он расстелил для гостя на полу шкуру, дождался, когда Арсен лег и заснул, прикрутил лампу, оделся потеплее и вышел из избы.

Ночь была прозрачной. Ни одного облачка. Тишина.

Улукиткан глубоким вздохом набрал полные легкие воздуха, задержал его, как бы давая возможность осесть в груди лесному аромату. И вот из глубин памяти выплеснулись события, оживленные встречей с Виноградовым. Очень зримо и близко представились ему горы — зубцы поднебесных вершин, холодные тени чахлых лиственниц, тропа, бегущая по крутизне. В лицо хлестнул буран, и точно наяву он услышал душераздирающий крик:

— Помогите!..



СЛУЧАЙ НА ХУДОРКАНЕ

Улукиткан видит себя идущим во главе большого аргиша, груженного экспедиционным скарбом, и рядом Арсения Виноградова. Путь шел к снежным вершинам, туда, где в щелях заплесневелых скал берет свое начало дикий Худоркан.

Ночную стоянку они устроили у подножия высоченного гольца, называемого тоже Худорканом, уже обласканного первым весенним теплом. А солнечным утром с поняжками на плечах они отправились в путь от палатки к вершине гольца.

Небо было чистое, в голубом разливе, без примет. В звонком воздухе чутко отдавались шаги по россыпи. Все выше и выше. Шли навстречу дню.

Улукиткан решил вести инженера вначале по острию гребня до снежника у входа в цирк. А дальше проходы прятались в синеве. У старика было хорошее настроение.

В такт своим шагам он напевал монотонную песенку о том, как чудесно на земле весной, когда в каждом цветке торжествует любовь, в каждой росинке — жизнь, в песнях птиц — счастье.

В прохладе тающих снегов звенели горы таинственными голосами. Этот еле слышный звук как будто шел из глубины лощин.

— К чему они гудят? — спросил проводника Виноградов.

— К непогоде. Когда кругом тихо и на небе нет примет, первыми узнают о непогоде горы. Нынче может завьюжить.

Вот и последние скалы. Они точно обручем туго опоясывают голец. Крутизна отнимает силы. Шаги мельчают. Ногам помогают руки. Легким не хватает воздуха. Наверху задержались передохнуть. До вершины рукой подать. Она вся на виду, с поднятой высоко макушкой.

Улукиткан повернулся к своему следу. Окликнул Виноградова.

— Видишь, вон там за грядами ущелье, — старик проткнул пальцем воздух, показал на запад, где в теснине гор чернела глубоким шрамом щель. — То Ивак. Там я давно оставил больного отца, он не мог идти, а мы не могли ждать, когда его возьмет смерть. Оставили ему дров для костра и ушли, голод нас гнал...

— Он умер?

Улукиткан удивился вопросу.

— С ним осталась собака, ее тоже мы никогда больше не видели...

Огибая голец, с криком пронеслась мимо стайка кедровок. Улукиткан, оторвавшись от дум, торопливо зашагал...

На вершине гольца стоял геодезический знак. Виноградов достал из футляра инструмент, установил его на столике и, припав глазами к трубе, долго вглядывался

в горизонт. Было тихо и тепло, как в хороший весенний день.

— Нет, не вижу того, что надо. Придется задержаться, — сказал он, отрываясь от объектива.

— Может, нынче и совсем ничего не увидишь. Этот туман сам не уйдет, только ветер разгонит его, но ветер принесет непогоду. Решай: ждать или лучше завтра прийти?

— Подожду, делать все равно нечего, авось дали очистятся. А ты сходи вон в тот цирк, может, барана подстрелишь и спустишься на табор, — предложил Арсен.

— Барана добыть хорошо. Однако, послушаю тебя, авось фарт будет, — и старик, накинув на плечо бердану, зашагал вниз по гремучей россыпи.

Под теплыми лучами весеннего солнца голец мирно дышал, как спящий олень, не замечая совершающегося в природе вокруг него таинственного обряда — пробуждения и обновления.

Улукиткан шел своим следом. Замшевые олочи беззвучно касались камней. На крутых спусках он притормаживал ход. Уже миновал последнюю гряду скал, как до его слуха донесся шум крыльев пролетевшей на юг стаи мелких лесных птиц. Эвенк удивился: «С чего бы это они летят обратно на юг и так торопливо?» И тут почувствовал сзади дыхание ветра. Повернулся и остолбенел: муть на северном горизонте оконтурилась в тучу, которая угрожающе нависла над бесплодной равниной. Справа и слева вставал неудержимо на дыбы поднятый ветром туман.

«Дурная голова, зачем оставил на гольце одного инженера!» — спохватился старик. Хотел вернуться, но до табора уже было недалеко.

Быстро погасло солнце. Ветер набирал силу. Тяжелая туча, набежавшая с севера, черным брюхом накрыла голец, на котором остался Виноградов. Улукиткан беспо-

койно подумал о том, сумеет ли инженер в такую непогоду добраться до палатки, а без нее, да еще в ночь — худо ему будет. Тревога за судьбу инженера охватила проводника.

Улукиткан торопливо добежал до табора. Наскоро раздул огонь в печке. Снял олочи, переменил стельки, положил в карман трут и кресало на случай, если нельзя будет воспользоваться спичками. Затем привязал к своей поняжке пуховый спальный мешок Виноградова, почти невесомый, меховые чулки, теплое белье. Накинул кладь на плечи, стянул ремешком лямки на груди. На какую-то секунду он задумался: «Может, зря беспокоюсь? Арсен не заблудится, не маленький, и без меня придет». И тут Улукиткану вспомнились давно сказанные ему отцом слова: «Пусть ты добрый, но если у тебя не будет ни мяса, ни шкуры, чтобы одолжить больному соседу, сколько бы ты ни болтал языком о доброте — делу не поможешь». Улукиткан, отбросив колебания, поспешно закончил сборы. Он уходил с табора со смутным предчувствием какой-то беды. Но зашагал уверенно, подставляя ветру грудь и морщинистое лицо. Буран свирепел, хлестал его по щекам, мешал смотреть вперед.

Подъем давался ему труднее. За цирком он еле нашел проходную щель. Поднялся на верхние скалы. Присел отдохнуть на камень у обрыва. И в реве урагана уловил какой-то посторонний звук, похожий на крик человека. Звук этот донесся слева, из глубокой расщелины. «Неужто Виноградов? С чего бы его туда занесло?.. Нет, не может быть!» Стащив с головы шапку, он повернул ухо в сторону ветра... Крик не повторялся. «Однако, почудилось», — решил Улукиткан. Но на всякий случай крикнул в пространство, постоял немного и начал взбираться на крутизну.

Его мучили самые противоречивые мысли. Вначале он успокаивал себя тем, что Виноградов едва ли решился спуститься по скалам на дно расщелины да еще ночью.

Но затем ему казалось, что бешеный буран мог сбросить инженера с гольца вниз. Он не допускал мысли, что его слух мог ошибиться. Эвенк заторопился вперед, он почти бежал, спотыкаясь о камни. На верху отрога он пристально осмотрел пологий скат — никаких следов. Крикнул — никакого ответа. Свернул влево. Увидел вмятину в снегу, вторую, третью. Пригнулся, припал глазами: «Виноградов шел». Улукиткан пощупал след — давненько прошел человек. Вмятины уходили вниз по другому отрогу. С губ старика сорвался возглас досады.

Теперь он твердо знал, что в расщелине кричал Виноградов. Значит, нужно торопиться, дорога каждая минута.

Сгущались сумерки, уже трудней становилось разглядывать дорогу. Вот начался спуск. Дальше следы Виноградова шли вниз по крутизне и обрывам. Старик глазам не верил: «Ослеп, что ли, инженер, куда свой след тянет?»

Улукиткан еще торопливее побежал по расщелине. Натыкался на каменные стены. Скатывался по скользким надувам.

Но вот ущелье кончилось. Дальше падали в темноту отвесные ряды карнизов. Улукиткан с трудом разыскал, увидел след — отпечатки пальцев Арсена на заснеженном выступе, за который, видимо, он хватался руками при спуске. «Лешак тебя несет, лезешь куда попало, разве не видишь, что там пропасть...» — с досадой бормотал Улукиткан. Заглянул вниз. Темень заполняла глубину провала. Но старик не раздумывал. Непослушными от холода руками он обхватил выступ и, повисая на них всей тяжестью, опустил тело вниз, левой ногой нащупал опору на стене. И тут понял, что делает глупость: если сейчас он погибнет, то ведь и Арсену без него не выбраться из беды. Но он уже ничего не мог поделать с собою. Продолжая держаться руками за выступ, он искал опору для второй ноги и уже хотел встать на нее, как руки вдруг

ослабели и соскользнули с выступа, судорожно цепляясь за скалу... Старик почувствовал под собою глубину провала. Сорвавшиеся из-под него обломки с грохотом покатились вниз. Пытаясь удержаться, он, срывая ногти с пальцев, хватался за скользкие стены откоса, по которому сползал, и в отчаянии закричал. Но кто мог услышать его одинокий крик в этой холодной пустыне, ведь и Арсен, наверное, погиб...

Улукиткан пришел в себя, когда почувствовал, что остановился, смолк под ним скрежет сползающих камней. Он прополз на четвереньках еще ниже. Ощупал руками россыпь возле себя — нашел бердану и посох. С трудом приподнялся. Не разгибая спины, долго растирал ушибленные бока, голову, коленки.

Кругом непроглядная тьма да вой разгулявшейся стихии.

— Ого-го-о! — снова крикнул Улукиткан изо всех сил. Но ветер, бьющий в лицо, не донес даже эхо его голоса. Улукиткан поднялся, поправил на плечах котомку, унял дрожь в руках и ногах. Пошел по дну расщелины вниз.

Меж поредевших облаков мигали живые огоньки звезд. А на земле, казалось, темнела вокруг пугающая бездна. Старику подумалось, что он спускается в какой-то иной мир, где нет ни тепла, ни жизни и откуда нет возврата. Его окружали скалы, безучастные и холодные, как смерть. Острые когти холода все глубже впивались в лицо, в руки и ноги.

Но вот, преграждая ему путь, возникла перед ним заросль густых низкорослых ив. Они так переплелись между собою, что ни человеку, ни зверю не пробиться через них.

— Арсе-ен!.. — крикнул Улукиткан в темноту, зная, что инженер не смог бы уйти дальше этих зарослей.

И почти рядом с ним послышался стон. Старик бросился к кустарнику.

Виноградов лежал на снегу под ивками, в телогрейке и плаще, без шапки, хватая открытым ртом холодный воздух. Большие круглые глаза его были видны даже в темноте. Проводник и инженер молча смотрели друг на друга.

— Я знал, что ты придешь, — наконец сказал, пытаясь подняться, Арсен и тут же снова свалился на снег.

— Вставай, уходить надо, тут пропадем, — прокричал ему в ухо старик и просунул руку под шею инженера, чтобы помочь ему встать.

— Больно!.. — закричал тот. — Я разбился. Идти не могу.

— Берись за меня, крепко держись, будем вставать, — голос Улукиткана звучал повелительно.

Виноградов закинул руки за спину старику, обнял его и сделал усилие приподняться, но со стоном разжал руки, даже не оторвав от снега головы.

— Брось меня, спасайся сам! — сказал он расслабленным голосом.

— Ты сдурел, что ли? — закричал проводник. — Как так оставить тебя тут? Говорю, пойдем! — И, напрягая все силы, Улукиткан безуспешно пытался поднять инженера.

— Уже близко лес, совсем близко, разве не слышишь, как шумит? Там будет костер, тепло. Послушай старика, пойдем, — ласково уговаривал Улукиткан спутника. — Как-нибудь дойдем!

— Не могу... И ты не теряй времени, уходи, — глухо, сквозь зубы, сипел Арсен.

Улукиткан не знал, что делать. Такого случая еще не было в его жизни. Бросить Арсена он, конечно, не мог. Но он ясно понимал, что вдвоем в таком положении им не спастись.

Улукиткан сбросил с плеч ружье, котомку. Закоченевшими пальцами отвязал от котомки спальный мешок. С неимоверными усилиями стянул с инженера сапоги, на-

дел на него ватные брюки, меховые чулки. Кальсонами обмотал его голову. Увидев неподалеку большой плоский камень, утоптал возле него с податливой стороны снег и разостлал спальный мешок. Подтянув Арсена к камню, долго засовывал непослушное тело инженера в мешок, надеясь, что Виноградов может долго не замерзнуть в этой гагачьей постели, а сверху он еще накрыл его своей дошкой — так надежнее. Сам остался в старенькой телогрейке.

Виноградов силился что-то сказать, но только застонал. Улукиткан наклонился к нему:

— Прощай, Арсен... Если утром не приду, считай, что пропал. А ты маленько отдохни, согрейся и по моим следам сам выбирайся. — Это было сказано так просто, будто речь шла не о жизни и смерти, а о легкой прогулке.

Старик достал из кармана кусок лепешки, разломил пополам, одну половину засунул в мешок больному, вторую оставил себе. Потом засыпал инженера снегом поверх постели, прихлопал по краям, чтобы ветер не разрыл. Всмотрелся, запоминая в профиль скалы, нависающие над этим местом. И, перекинув за плечо бердану, взяв в руки посох, Улукиткан зашагал прочь от живой могилы своего спутника в гудящую буранную мглу. Скорей бы добраться до тайги! Но он не знал, куда приведет его эта расщелина. Холод становился нестерпимым. Старик подставлял холодному ветру то спину, то бока. Засовывал за пазуху закоченевшие кисти рук, прижимая их к телу.

Он ощутил острое покалывание в ступнях. Надо бы немедля разуться, растереть пальцы снегом, перемотать портянки, но он боялся присесть, не надеялся, что сможет встать. Надо было во что бы то ни стало добраться до тайги.

Дно расщелины становилось все более пологим. Разбежались, как вспугнутое стадо диких баранов, тучи, и зрелая, большая луна осветила снежную равнину, куда

выходило ущелье. Оттуда донесся глухой шум леса. Короткий, радостный вздох вырвался из груди старика.

Вот и первое деревцо, горбатое, дупляное, одиноко растущее на каменных обломках. Дальше деревья стали попадаться чаще, но как на грех не находилось ни единой сушины. Он шел от дерева к дереву, искал сухие пни. Буран неотступно гнался за ним, подхлестывал. Он начинал понимать, что костра не предвидится и ему никогда уже не согреться. И тут наткнулся на сухие кусты голубики. Не дрова, но все-таки можно зажечь. Сломал большой куст, размельчил его ногами на части, закоченевшими руками кое-как сгреб изломанные прутья в кучу. Оставалось подложить под нее завиток березовой коры и подпалить, хоть на минуту согреться. Он запустил руку за пазуху и с ужасом обнаружил, что припасенная береста и спички остались во внутреннем кармане дошки, которой он укрыл Арсена...

Буран вдруг утих. Показалась луна. Но стало еще холодней.

Улукиткан не помнил, сколько времени он безвольно бродил по редколесью, пока не увидел впереди валежину, темным горбом торчащую поверх сугроба. Старик с каким-то облегчением присел на нее. Ноги окончательно потеряли чувствительность, в коленках не сгибались. Откинув голову, Улукиткан хотел в последний раз глянуть на звезды и на лесную ширь, залитую лунным светом, — и обомлел... Он с трудом раздавил рукавицей на лице заледеневшую корку, протер глаза. И еще раз всмотрелся. Нет, ему не причудилось, он не спал. Большая черная тень переместилась на лужайке, слилась с кустарником, но скоро появилась снова, четко выкроившись на снежном поле. «Сокжой!» — сведенными стужей губами прошептал эвенк. И все его существо в этот момент сосредоточилось на звере, который сейчас для него воплощал в себе все: тепло, пищу, сон, самую жизнь...

Опираясь на совсем ослабевшие руки, он встал с ле-

сины, мельком отметив, что пальцы на ногах перестали болеть, то ли согрелись, то ли совсем закоченели. Да и руки он чувствовал только в плечах. Но все это как-то отступило перед охватившим его желанием добыть сокжоя.

Ветер откуда-то донес какой-то загадочный звук: не то сонная птица на дереве пошевелила крылом, не то треснула веточка под тяжелой лапой какого-то хищника, может, тоже крадущегося к сокжою. Сокжой мгновенно повернулся на этот звук и, вытянув морду навстречу ветру, внюхался в воздух. Постоял немного, осторожно шагнул вперед и бесшумно исчез за лохматым густым стлаником.

Улукиткан, закрыв глаза, на минуту сосредоточился. Было страшно от мысли, что зверь уходит, а вместе с ним уходит и его последняя надежда. «Лучше погибнуть на горячем следу зверя, чем замерзнуть, как слепому щенку», — рассуждал он, осторожно двинувшись вперед, по направлению к поляне, с которой только что ушел сокжой. Это ясное сознание несколько оживило его, заставило быстрее стучать сердце, будто подогрело кровь. Теперь бы только зарядить бердану. Но пальцы будто забыли, как это делается. Он запихивал их в рот, отогревая дыханием, засовывал под телогрейку. Наконец, действуя чуть ожившими пальцами и зубами, он все же зарядил ружье.

Снегопад почти прекратился, еще больше посветлело. Улукиткан достиг поляны, где кормился сокжой. Встречный ветер глушил его шаги. Ожили глаза, чутким стал слух.

За взлохмаченными ветром стланиками, за лиственничным редколесьем, на мари, освещенной луной, темнел силуэт пасущегося сокжоя. Улукиткан почувствовал, как теплая, живая кровь ударила ему в голову. Теперь все зависит от него, от его воли и ловкости. Только бы сумели омертвелые пальцы спустить боек берданы.

Улукиткан осторожно обошел кустарник, быстро подобрался к стоявшей в просвете корявой лиственнице. Приник к ней и отдышался, а затем выглянул из-за ствола дерева.

Тени уродливых лиственниц переплели снег причудливым узором. Сокжой, ничего не подозревая, неторопливо передвигался по противоположной кромке мари, не отрывая головы от земли, продолжал кормиться. Сейчас он был весь на виду, горбоносый, с черными вздутыми буграми будущих рогов на голове, приземистый и длинный. В фосфорическом свете луны он казался огромным серебристым изваянием. Приближаясь к старику ленивыми шагами, сокжой как бы испытывал терпение охотника. Улукиткан, затаив дыхание, начал наводить ружье. Человек знал, что через какое-то время из них двоих останется жить один: он или сокжой. И это уже не обычная охота, а поединок жизни и смерти.

Улукиткан, прижимаясь к лиственнице, с трудом удержался на ногах. Зверь был уже близко, но почему-то держался в тени, будто ему неприятен лунный свет. И это мешало Улукиткану навести мушку на верное, самое убойное место зверя.

Улукиткан призвал на помощь всю волю, всего себя. Он еще тверже оперся ногами о мерзлую землю, просунул негнущийся указательный палец в пусковую скобу ружья.

После выстрела зверь шарахнулся в сторону. Заспотыкался, упал, но тотчас же вскочил, глянул в сторону, откуда раздался выстрел, и, медленно опускаясь на колени, издал последний утробный стон.

Старик, бросив бердану, теперь она была для него лишней тяжестью, еле передвигая ноги, обошел стланик и поплелся к убитому зверю.

Сокжой лежал на правом, окровавленном боку, поджав ноги и осторожно положив свою длинную голову на снег. Улукиткан обошел вокруг туши, нагнулся над нею,

не торопясь осмотрел ее от морды до хвоста, ощупал зимнюю длинношерстную шубу на спине сокжоя, черные вздутия будущих рогов на его темени. Они были мягкие, наполненные горячей кровью. В другое время эвенк не замедлил бы их срезать и сварить — лучшего лакомства не знал его язык. Но теперь было не до того. Старик опустился на колени перед тушей. Надо было как-то сделать хоть маленький разрез в животе сокжоя — и тогда спасен Улукиткан! Но как это сделать? Старик попытался охватить рукоятку ножа пальцами правой руки, чтобы вытащить его из ножен, но пальцы, как деревянные, соскользнули с рукоятки. Тогда старик зажал ее запястьями обеих рук, собрав все силы, потянул на себя — и все же вытащил нож, но тут же и выронил его. На большее руки не были способны.

Длинный и узкий, как шило, нож лежал на снегу. Улукиткан склонился к самому снегу, схватил нож зубами и, разогнувшись, не выпуская ножа изо рта, воткнул лезвие в живот сокжоя. Дальше было легче. Держа нож зубами, помогая руками, старик немного расширил разрез, и оттуда в лицо ему ударила горячая струя крови и пара. Улукиткан с чувством величайшего облегчения сунул в горячую рану свои омертвелые руки. Пар, выходя из нутра туши, оседал густым инеем на почерневшем лице эвенка. Улукиткан, погрузив руки в брюхо зверя до локтей, грудью навалился на тушу, но не смог подтянуть непослушные ноги. Они совсем одеревенели, ступни, наверно, примерзли к олочам. Но сейчас эвенк не думал о ногах. Надо было во что бы то ни стало отогреть пальцы на руках, а уж они помогут вернуть к жизни и ноги.

Он все глубже запускал руки во внутренности животного, шевелил кистями. И спустя несколько минут пальцами почувствовал отдаленное тепло, ожила в них боль. Появилось полное ощущение, что руки лежат на раскаленных угольях и медленно распадаются по суставам. Он вырвал руки из брюшины зверя, хватал горстями

снег и оттирал им кисти, засовывал руки за пазуху, дул на них. Боль становилась острее, точно кто-то вонзал иголки под ногти, выкручивал фаланги пальцев. Старый эвенк взревел от этой боли.

Но живое тепло сделало свое дело — боль начала ослабевать, в кончиках узловатых старческих пальцев запульсировала кровь. Улукиткан скрипел зубами, еще энергичней хлестал себя руками по бокам, натирал кисти снегом и снова засовывал их в брюшину зверя.

Руки, хотя и сильно болели, становились все более послушными. Тщательно прикрыв шерстью рану в брюшине зверя, чтобы сохранить внутри туши тепло, Улукиткан решился взяться за свои ноги. Расшнуровал олочи, стащил их с ног, оторвал примерзшие к ступням стельки и засунул их себе за пазуху, прямо к телу. Ноги были темно-синие, холодные, как лед, без признаков жизни. Эвенк изо всех сил тер их снегом, затем шерстяными портянками, прижимал к теплой еще мохнатой шкуре сокжоя. Повторялось то же, что и с руками: вначале пальцы зашевелились, затем появилась жгучая боль — явные признаки оживления. Стиснув челюсти от боли, Улукиткан засовывал поочередно ноги в брюшину сокжоя и снова растирал их снегом.

Хотя боль и не прекращалась, руки и ноги еще плохо повиновались старику. Он достал из-за пазухи нагретые стельки, вложил их в олочи, завернул ступни в портянки, обулся.

Морозный ветер, будто поняв, что старый эвенк вырвался из его леденящих струй, немного утих. Улукиткан развернул убитого зверя на спину и стал свежевать. Он торопился. Работало все — зубы, руки, нож, пока из шерстистой шкуры не вылупилась красная туша.

Старик в изнеможении опустился на шкуру. И тут только почувствовал тупую, ноющую боль в пустом желудке. Стоя на коленях, он вспорол ножом всю брюшину зверя и, запустив в нее глубоко руки, отрезал большой

кусок печенки, еще теплой и пахучей. Ел ее сырую, без соли, ел жадно, много, глотая нежеваными кусками, пока не набил желудок. Глазами разыскал в темном небе Хэглэн * и удивился: ему казалось, что уже скоро рассвет, а в действительности еще не было и полночи.

Но теперь спать, и только спать! Закутаться в шкуру сокжоя, и забыть стужу, Арсена, оставшегося там, в расщелине, табор, где-то приютившийся у подножия гольца. Улукиткан мысленно поблагодарил предков за то, что они помогли ему спастись от явной смерти их древним способом.

Он стал устраиваться на ночлег. Отсек ножом от туши заднюю ногу и положил ее на шкуру: с подветренной стороны она заменит ему подушку. Затем он половину шкуры разостлал на снегу, шерстью кверху, лег на нее, а остальной частью укрылся. Зная, что шкура, вывернутая мездрой наружу, быстро замерзнет и он окажется замурованным в ней, как в колоде, не сможет повернуться на другой бок, расправить согнутые ноги, он не укутывался слишком плотно, оставил отверстие для лица, через которое можно будет выбраться утром из этого своеобычного спального мешка.

Несколько минут старик находился в состоянии величайшего блаженства. По телу разлились теплота и какая-то удивительная легкость, будто он снова лежит, как дитя, в мягкой люльке далекого детства.

Когда Улукиткан пробудился, первое, что вмиг вернуло старика к действительности, была острая тревога за спутника, оставленного в ущелье. Затем пронеслись пред ним несвязные отрывки ночных событий. Старик лежал, боясь пошевелиться, еще не уверенный, что его руки и ноги спасены, что он сможет подняться. Он долго и трудно выбирался из-под замерзшей шкуры и еле удер-

---

* Хэглэн — Большая Медведица.

жался на ногах. Он был весь расслаблен, как после тяжелой болезни.

Ветер давно стих. Ни одна веточка, ни одна былинка не шелохнутся, точно окаменело все после бури. В просвете между лиственницами виден был встающий из тумана голец. Горы пробуждались. Громоздились над пропастями их вершины, и из-за скал сочился узкими полосками утренний свет. Улукиткану казалось, будто он из какого-то неведомого мира вновь вернулся на свою землю, и как бы заново увидел знакомые горы, небо, снова ощутил себя живым.

Улукиткан накинул на плечи пустую котомку, нашел бердану и поспешил в расщелину, где у приметной скалы, под холодным сугробом оставил Арсена. Опираясь на посох, еле держась на ослабевших ногах, он медленно уходил от мари, от жирной туши зверя, от теплой постели, уходил убежденный, что иначе человек не может поступать, и это сознание прибавляло ему сил.

Тяжело давался старику каждый шаг, каждый метр подъема. Малейший излом, неприметный в другое время, теперь казался крутизною.

Старик не узнавал расщелины. Спускаясь вчера вечером по ней, он из-за пурги почти ничего не видел, не запомнил приметные места, и теперь казалось, будто скалы повернулись к нему какой-то незнакомой стороной.

Но вот и солнце! Оно выбралось на зубчатый гребень гольца и на какое-то время замерло, будто отдыхая от крутого подъема. На западном горизонте в синеве прорезались макушки далеких кряжей. Где-то неподалеку, около каменных развалин, громко прокричала куропатка, резким гортанным криком оповещая жителей расщелины о наступившем дне.

Улукиткан еле передвигал ноги. Но тревога за Арсена гнала его дальше, выше и выше.

За последним поворотом расщелина стала выклини-

ваться. Старик узнал лоб отрога, по которому вчера сполз, но сейчас не мог найти глазами утеса, под которым оставил инженера. «Разве могло такое случиться раньше? Совсем устарел. Куда такое годится?» — горестно раздумывал он, остановившись. Зарядив бердану, выстрелил. Далеко по глухим ложкам расползлось, потревожив утреннюю тишину и долго забавляясь в ущельях, эхо выстрела. Улукиткан прилег на снег, припав ухом к надуву, стал слушать. Нет ни шороха, ни человеческого вздоха. Где-то в глубине, под снежным покровом, чуть слышно сочилась вода. «Однако, прошел утес», — подумал Улукиткан и повернул назад. Напрягая зрение, он старался не пропустить ни одного каменного выступа, старательно рассматривал рассыпушки, скалы. В поле его зрения попалась веточка хвои, торчащая из-под глубокого снега.

И сразу все разгадалось — и каменистые развалины, и утес, и большая глыба на самом дне расщелины, возле которой был оставлен Арсен.

Под каменным навесом теперь лежал метровый снег, почти вровень с глыбой, крепко спрессованный ночным ветром. И только маленькая веточка лиственницы торчала из сугроба. Улукиткан узнал эту ветку, вчера поставленную им. Возле ветки в сугробе была норка, из которой шел парок.

— Арсен, это я, Улукиткан!.. Ты слышишь? — крикнул Улукиткан, наклоняясь над норкой.

Немного погодя из сугроба послышался тихий стон.

Старик сбросил с плеча ружье, размял ногами корку снежного надува и, став на четвереньки, начал разгребать сугроб. Работал ожесточенно, долго, пока не отрыл Арсена. Тот лежал на спине, расслабленный и раскрасневшийся, в жару. Он смотрел на проводника широко открытыми глазами. В них отражалось небо, разлохмаченный край утеса и сам Улукиткан. Старик заботливо потрогал лоб больного.

— У тебя что болит? — спросил он.

Тот раскрыл рот, пошевелил сухим языком, но ни одного слова не мог произнести.

— Надо скорее в тайгу, — сказал Улукиткан, — там разведем костер. У костра и с чаем легче думать. Решим, что делать.

Он помог Виноградову выбраться из спального мешка, усадил на дошку. Снял с ноги инженера сапог, закатал штанину и осторожно ощупал темно-фиолетовую рану на рассеченной камнем коленке, уже затянутую коркой.

— Нога заживет, худо, что простыл, — спокойно заключил Улукиткан. — Наши предки такую боль хорошо лечили: голого в снегу катали, потом клали в теплые оленьи шкуры, и через день он был на ногах. Который слабый — сразу умирал, ему все равно в тайге не жить... Будь ты, Арсен, эвенком, я бы непременно так сделал, а с лючи без привычки всякое может случиться.

— Пи-и-ить... — еле слышно попросил инженер.

Старик подсел к нему. Повернул распаленную жаром его правую руку ладонью к солнцу. Положил на нее комок снега. Снег быстро растаял, как на горячей сковородке. Так он сделал несколько раз. Виноградов жадно слизывал влагу со своей ладони.

— Теперь будешь жить, — сказал убежденно Улукиткан.

Больной, преодолевая слабость, поднял голову, глянул на проводника своими ввалившимися лихорадочными глазами.

— Только ты мог спасти меня! — чуть не плача, произнес Арсен.

— И другой на моем месте сделал бы то же. Так велит завет наших предков, так должны делать все, — просто ответил старик.

Он увидел висевший у инженера на поясе нож, вытащил его из ножен, достал свой и на их рукоятках вырезал

по два глубоких креста. На недоуменный взгляд инженера старик ответил:

— Нас двое, — он указал на вырезанные знаки. — Это будет память, что не пропали ночью, побороли пургу.

— Как тебе-то удалось спастись от стужи? — спросил Виноградов.

— Ты помог.

— При чем тут я?

— Ты не мог идти. Я бросил тебя под сугробом, по шибко хотел спасти. От этого я стал сильнее стужи. Понял?

— Спасибо тебе, Улукиткан. — Арсен с трудом протянул к проводнику расслабленные руки и, наклонив к себе его седую голову, прижался к ней губами.



СЛЕДЫ НА ПЕРЕНОВЕ

Распласталась тайга по заснеженным холмам, выстлала пади, ушла сплошной чернотою за хребты. Всюду величественная тишина зимнего леса. Изредка стукнет дятел: ударит клювом в сушину, подождет, когда смолкнет, ударит еще, посильнее, и как зачастит... Долго не стихает в лесу этот дребезжащий звук. Он так обычен, что, кажется, не нарушает общего покоя.

В вечернем сумраке багровел закат. Воздух был резок. Все замерло в безмятежной истоме угасающего дня. И такая благодать, такой покой, будто в природе на века наступило примирение. Ни хищников, ни бурь, ни смерти.

Тишину разорвал шум крыльев вспугнутой стаи синиц. И еще не успел смолкнуть шорох их крыльев, как послышался хруст снега под чьими-то легкими шагами. Затем ближе, точно от удара, вздрогнула березка, раз-

двинулся стланик, и в образовавшемся просвете появился Улукиткан.

Выбравшись из чащи, он, не задерживаясь, на ходу стряхнул с ушанки снег, протер лосевой рукавицей глаза, глянул на меркнущее у плоского горизонта солнце. Не торопясь, вывел из чащи три пары оленей, впряженных в нарты, нагруженные охотничьим скарбом. Спустился к речке Арга и на пологом берегу остановился. В холодном безмолвии спала река. За нею простерлась на запад бесконечная равнина, угрюмая и в снежной белизне своей однообразная, как синь океана. Слева за тальниковым частоколом эвенк увидел поляну, прижатую увалом к реке. Именно сюда, к ней, он и пробирался.

Более трех десятков лет назад тут однажды была его стоянка. Однако и сейчас все ему на полянке знакомо: и приземистые ели, столпившиеся у невысокого берега, и озерко под рекою, в оправе из пожелтевшей осоки, теперь замерзшее, и старые пни от срубленных им еще тогда деревьев. Проходя мимо, Улукиткан толкнул ногою один из пней, и тот развалился. «Пни и те сгнили, а я еще топчу землю», — подумал старик.

Он подвел упряжки к ельнику. Отпустил оленей. Достал пальму — большой нож с длинной деревянной рукояткой, заменяющий топор, и ушел в чащу.

За тусклым горизонтом потухал закат. Из боковых ложбин, из чащи наплывал ночной холодный сумрак. Одна за другой в небе загорались звезды.

Старик не торопился с устройством ночлега. Для одинокого путника зимняя ночь кажется бесконечно большой, чего только не передумаешь, где только не побываешь, мысленно дожидаясь рассвета! «Как-нибудь прокоротаю ее, а завтра приедет Басиль, будет веселей, и языку найдется работа», — размышлял он.

Улукиткан опознал место, где когда-то стоял его чум. Выстлал это место лиственничными ветками, установил печь, натянул палатку, принес воды. Раньше он все это

делал легко и быстро, а теперь не тот взмах пальмы, шаг стал мельче, да и в руках не осталось прежней силы.

Перед тем как забраться в палатку, старик оглядел звездную синеву неба над стоянкой. Ухом припал к тишине. С юга через марь набегал легкий ветерок, казалось бы, совсем неприметный, какой всегда дует вечером вслед ушедшему дню. Но старику многое говорил этот ветерок. В нем расслышал он, как далеко отсюда гудел глухо огромный, непостижимый даже для разума лес. «К непогоде...»

А в палатке теплынь. Мигает свеча. Пахнет отогретой лиственничной подстилкой. Чудесный запах! Куда нежнее и ароматнее запаха еловой или сосновой хвои. Вообще Улукиткан предпочитает его любому запаху.

Эвенки давно уже живут оседло, сменив дырявый берестяной чум с негаснущим очагом в нем на четырехстенную уютную избу с печью. Только такие старики, как Улукиткан, не могут, не видят смысла ломать установленный прадедами уклад жизни, связанной звериными тропами, полной поединков со стужей и непогодой. Вся его жизнь — большой аргиш. Одна-две ночевки на одном месте, и дальше, к новому небу, к другому ручейку, туда, где лес в тихую погоду, кажется, поет колыбельную. Улукиткан убежден, что на свете нет ничего уютнее полотняного жилья с лиственничным запахом, нет ничего вкуснее пшеничной лепешки, испеченной на жарких березовых углях, и здоровее сна у костра, он не знает приятнее музыки, чем голоса живой природы.

Улукиткан сбросил с худеньких плеч дошку, подложил в печку дров, присел к теплу. «Хорошо!» — подумал он, доставая из потки посуду, сумочку с сахаром, масло, отварное мясо. Скорее бы закипел чайник...

Улукиткан слышит, как шелестит снег, падая на крышу палатки, как за озерком стонет, качаясь, старая лиственница, как за Аргой кричит голодная птица. Расстегнул вход в палатку и, высунув седую голову, вглядел-

ся, вслушался в беспросветную темень. Где-то внизу тихо шумели старые сосны. «К утру снег перестанет, перенова * будет, а это всегда охотникам фарт, может, и мне повезет», — порадовался старик.

После чаепития он занялся подготовкой к охоте: отложил несколько мелких беличьих патронов к бердане и три для крупного зверя. Его пес Пакет — мастер берлоги искать, авось и нынче поднимет зверя, тогда он, Улукиткан, старому дружку своему Уйбану не сохатиную шкуру привезет, а медвежью. Теплая будет ему подстилка под бок, да и укрыться ею куда с добром. Улукиткан достал из потки трубку, сам не курил, но на всякий случай, для встречи с кем-нибудь возьмет и трубку. Просмотрел, не продырявились ли меховые чехлы для лыж, без них не скрадешь в тихом лесу зверя.

Сон не приходил к Улукиткану. И перед ним вставал завтрашний день: лес, встревоженный выстрелами, след зверя, призывный лай Пакета. Всякий раз, когда он находился в тайге, им овладевало это загадочное чувство. Он никогда не пытался осмыслить, понять его, просто слепо доверялся и отдавался ему. То было чувство привязанности к тайге, ко всему, что связывало с ней, — и это было для эвенка чем-то таким, что дороже всякой добычи, сытого табора, что он не променял бы на сотню черных соболей. И он радовался сейчас, что это чувство дожило с ним до глубокой старости, приносит ему и теперь величайшее наслаждение. Именно эта привязанность и привела его теперь на Аргу.

Думал он и о другом. Безымянный голец, с которого он вывел в «жилуху» астрономов — Ивана Ивановича и Алю, оказался последней покоренной вершиной в его жизни, как и то стадо снежных баранов, которое он видел тогда, уходя с гольца. Не пришлось ему больше бывать в горах, скрадывать круторогов. И тогда же, у стойбища,

* Перенова — выпавший за ночь снег.

куда он привез астрономов, навсегда оборвалась долгая тропа проводника, догорели костры последних шумных привалов. Не сопровождал он больше ни одной экспедиции, годы отняли у него право быть впереди идущим. Будто кто-то пальмой пересек жизнь эвенка, разделив ее на прошлое и сегодняшнюю старость.

Он заснул и во сне увидел далекую чайдахскую тайгу — глухой, безлюдный край, где много лет назад, он, будучи проводником, ослеп. Потерял солнце, тропу, приметы, но не бросил спутника, вывел его из большой беды, спас и себя. То был небывало голодный путь, нечеловеческие испытания. И все это он снова переживал в снах, которые часто переходили в кошмары. Улукиткан сбивался с направления, тонул вместе со спутниками в зыбунах или на порогах, бессмысленно блуждал по чащам и болотам. А просыпался с тяжелой головой.

Утро еще таилось за тусклым горизонтом, когда Улукиткан застегнул за собою вход в палатку, привалил край полотна поленом. Долго стоял, поглядывая на все стороны, раздумывая, куда ему податься, где вернее искать свою удачу? Можно бы за речку, в ельники, места там подходящие для белки, однако кочковатые мари, не везде пройдешь. Неплохо бы податься и в ложки, там-то наверняка есть зверь, но ходить по крутым отрогам у старика уже не было сил. «Совсем не остается мне и дела и места в тайге», — с горечью думал охотник.

Улукиткан еще раз окинул хозяйским взглядом становище и, подчиняясь какому-то внутреннему охотничьему приказу, уверенно направился в глубь лиственичной тайги, навстречу разгорающемуся дню.

Лес еще был полон ночного оцепенения. Деревья стояли, опушенные снегом, с высоко поднятыми вершинами, сквозь которые чуть сочился голубоватый свет утра.

Старик неторопливо месил лыжами податливую пере-

нову, любуясь сказочным, неповторимым снежным царством, — на пнях белые папахи, на березах висячие кружева инея, коряги превращены в снежные хоромы, под стланиковыми навесами таинственные пещеры. Старик бережно обходит хрупкие творения ночного снегопада.

Опытные глаза охотника ничего не пропускают. На свежем снежном покрове читают они предутренние следы лесных обитателей. Вот мышь, крошечное беспокойное существо, выскочила из норки поглядеть на заснеженный мир и, пробегая к соседке, настрочила малюсенькими лапками стежку. А это дикий олень, опускаясь в береговой ельник на кормежку, взбил сильными копытами белизну переновы, по пути развалил своей огромной тушей легкие снежные надстройки. Вот следы горностая, в поисках пищи этот хищник шнырял по темным закоулкам стланика, взбирался на валежины, чтобы осмотреться, принюхаться, и бежал дальше голодный, злой.

Из распадка, к которому подошел Улукиткан, донесся еле уловимый звук. Старик остановился, напряг слух и глаза. «А где же Пакет? Почему не подает голоса, оглох, что ли?» — подумал старик и зашагал к густой лиственничной чаще, откуда донесся непонятный звук.

На спуске в ложок он увидел след недавно пробежавшей белки. «Это она цокнула, больше некому».

Улукиткан неторопливо вложил в бердану беличий заряд. Протер рукавицей глаза и, сторожко шагая, всматривался в просвеченные солнцем вершины лиственниц, ища среди веток живой темный комочек. А белке прижаться бы к стволу, затаиться, выждать, когда охотник пройдет мимо, так нет, не утерпела, запрыгала, защелкала на весь лес, похваляясь, что она на недосягаемой высоте.

«Вот я сейчас и сшибу тебя, глупая!» — усмехнулся Улукиткан, прислоняя ружье к стволу дерева и прижимая к щеке приклад.

Но целился долго, не мог поймать зверька на мушку.

«Лешаковы руки, дрожат, не враз прицелишься», — горько подумал Улукиткан. А белка пуще дразнится: щик... щик... щик... Насмехается над стариком: то припадет к сучку так, что и не заметишь ее, то вернется по вершине или повиснет на тонкой веточке.

Грохнул выстрел...

Белка спохватилась, поняла — шутки плохи, надо удирать. И пошла верхом, с ветки на ветку, с дерева на дерево, пугливо озираясь на охотника. Редколесье пробежала по «полу» и снова пошла по деревьям, скрылась в темной глубине берегового ельника.

Улукиткан опустил дымящийся ствол берданы, прислонился плечом к лиственнице и незрячими глазами посмотрел вслед убежавшей белке. Плюнул с досады. «Глаза обманывать стали, на что годится!»

Но отступаться и не подумал, такого еще не бывало. Пошел догонять белку.

И хотя белка удирала по вершинам деревьев, больше не подавала голоса, Улукиткан шел уверенно следом за нею. С веток, по которым она прыгала, на свежий снег сыпались собранная коготками зверька кора, хвоя, сбитые мелкие лиственничные шишки. На перенове все это хорошо заметно. Не уйти тебе, пышнохвостая...

У ельника старик постоял, послушал, глянул в зеленую темень хвои, где спряталась белка. Улукиткан подобрался к толстой ели, стукнул о ствол дерева прикладом берданы, и тотчас же вверху, среди крон метнулся черный комочек, белка замерла, беспокойно подергивая пушистым хвостом. «Теперь-то не уйдешь!» — пригрозил Улукиткан, поднимая бердану.

В этот момент издали донесся лай собаки, злобный, напористый.

Старик опустил ружье, стащил с головы шапку, повернулся правым ухом в ту сторону. «Не на белку лает. Неужто берлогу нашел?.. Но какому дурню медведю взбредет в башку устраивать берлогу на солнцепеке?»

А лай становился все яростнее, настойчивее.

Забыв про белку — сейчас дорога каждая минута, — старик направил лыжи на лай и пошел резво срезать пологие края увалов. И снова был недоволен собой: «Будто быстро иду, а расстояние не сокращается, топчусь на месте, как глухарь на току». А тут еще поняжке неловко на спине, вроде бы и веса в ней немного, а плечи оттягивает. «Все теперь тебе неладно!» — ворчал старик.

А яркие солнечные лучи били ему в лицо; ожил, проснулся лес, протягивая ветви навстречу солнцу; защебетали синицы, запикали поползни; горластая желна перекрыла их своим криком.

И вот Улукиткан увидел на свежей белизне парный след, глубоко вдавленный в снег. Остановился, нагнулся, ощупал пальцами круглые пятачки следа и даже заулыбался. «Недавно пробежал. Ишь как торопится, что ни прыжок — сажень! А вот и след Пакета, почти рядом бежал». Старику стало легко, будто не было поняжки тяжелой за плечами, и ноги вновь обрели давно утраченную упругость и быстроту. «Скорей, скорей надо! — подстегнул он себя. — А то чего доброго скроется зверушка, уйдет, не догонишь такую удачу».

Откуда-то издалека пришел черный гость, редкий в Зейской тайге, в дорогой шубе. «За ним неделю можно идти — не устанешь». Пожалуй, впервые за всю жизнь он идет по горячему следу такой ценной добычи — черного соболя. Сколько лет он мечтал, ждал такой встречи! Никак нельзя ее упустить. Ноги бы только не подвели, глаз не обманул. Лай Пакета, слитый с лесным гулом, становился все ближе, все громче. Глаза перестали искать проходы, старик бежал напролом, руша снежные мосты, гроты, башни. Откуда и сила взялась! Стало жарко. Из-под ушанки потекли горячие ручейки пота. Остановился передохнуть, хватил ртом горсть снежку, расстегнул на всю грудь дошку. И дальше...

Лай уж совсем рядом, в ложке с крутым спуском,

в густой лиственничной чаще. Улукиткан притормозил лыжи, немножко отдышался. Разъяренный Пакет, задрав морду, облаивал толстую сосну. Улукиткан, не таясь, вышел из чащи. Осмотрел просвеченную солнцем крону дерева — никого не увидел. Зашел с другой стороны — то же самое. Сосна старая, вся издолблена дятлами, полузасохшая. Он подошел к ней, легонько стукнул бадожком по стволу. Тотчас же изнутри донеслось злобное ворчание.

На высоте поднятой вверх руки, с солнечной стороны, старик увидел на стволе сосны отверстие. На этом месте когда-то был сук, он сгнил, отвалился, и тут образовалось дупло, служившее зверьку убежищем. Тут он отлеживался после ночной охоты и сытной трапезы или спасался от затяжных зимних буранов. Сюда зверь и торопился, спасаясь от собаки. И наверное, сейчас, сидя в дупле, считал себя вне опасности.

Улукиткан осмотрел и ощупал корни старого дерева, лежащие почти на поверхности рассыпушки, — нет ли где внизу выхода из дупла. Сбросил котомку. Не торопясь достал топор, срубил сук подходящей толщины, вытесал из него чурку и заткнул ею отверстие в стволе сосны. Убедившись, что зверек надежно заперт, Улукиткан разжег костер, набил снегом чайник и повесил его над огнем. К нему подошел успокоившийся Пакет, довольный улегся возле него и долго смотрел в лицо старика ласковым, преданным взглядом. Но пока Улукиткан не спеша пил чай, собака осторожно следила и за дуплом. Малейшее движение, шорох в дупле заставляли Пакета упруго вскакивать, кидаться к сосне и, наскакивая на ее ствол, заливаться неистовым лаем.

Пакет считался беспородной собакой, хотя его мать, злая бродячая сучка, была чистокровной эвенкийской лайкой. Она не любила суетливую жизнь людского стойбища, собак — обленившихся пустолаек, уходила в тайгу на все лето и осень до начала пушного сезона. В постоянной

заботе о пище она скиталась по марям и болотам и там иногда ее видели с выводком щенят. Но возвращалась она к хозяину одна, будто не желая обрекать потомство на скудную жизнь среди людей.

И вот однажды из тайги она привела трехмесячного сына, одного из большого помета. Улукиткан решил, что собака не зря это сделала. Выпросил щенка у хозяина и назвал его Пакетом. Не ошибся старик.

Мать не наградила сына породистыми качествами: ни острыми стоячими ушами, ни лисьим, длинным и пушистым хвостом, зато передала ему дар промысловой собаки. Неутомимые в упряжке и погоне за крупным зверем ноги, великолепное чутье и беспредельная преданность хозяину выгодно отличали Пакета от всех других собак стойбища. Он азартно работал по соболю, белке, был неустрашим в схватке с медведем. Улукиткан дорожил им.

Напившись чаю, старик, все так же не торопясь, подошел к сосне и стал обушком топора простукивать со всех сторон ствол. По звуку старик легко определил более тонкую стенку и в том месте прорубил еще одну дыру внутрь, довольно широкую, чтобы свободно пролезла рука. Потревоженный стуком зверек забился в самый верх дупла, и оттуда доносилось его угрожающее ворчание.

Улукиткан достал из-за пазухи трубку. Затем надел на левую руку замшевую рукавицу, опробовал пальцы, можно ли ими сделать мертвую хватку. Просунув в вырубленное отверстие руку в рукавице и усевшись возле сосны, он стал вдувать едкий махорочный дым в дупло. Притихший было зверек снова заметался, яростно тряс зубами затычку и, не находя выхода, бросался по дуплу вниз и вверх, но не приближался к руке охотника.

А Улукиткан беспрерывно курил. Дым, накапливаясь вверху дупла, удушьем теснил зверька вниз. Соболь чуял, именно там, внизу, где пробивается в дупло полоска днев-

ного света, его и подкарауливает опасность, но дым становился все нестерпимей.

Старик в третий раз набил трубку, когда соболь осторожно лапками коснулся его рукавицы и тотчас пугливо отпрянул. «Ишь, пугается!» — усмехнулся охотник, пуская в дупло очередную порцию дыма. Он слышал, как зверек спустился к самому отверстию и замер, готовый на все, Улукиткан знал, что в минуту грозящей ему опасности этот маленький хищник становится крайне озлобленным и сильным, может постоять за себя перед любым противником.

Поэтому Улукиткан, отложив еще дымящуюся трубку, встал поудобнее на колени, приготовился к схватке. Соболь яростно заворчал почти у самой руки Улукиткана. Табачный дым прижимал его к человеческому запаху. Соболь уже касался задними лапками рукавицы, продолжая цепляться передними за стенку дупла. У старика перехватило дыхание. Еще две-три секунды — и из отверстия послышался яростный писк, хриплое дыхание зверька. Соболь, схваченный за горло, забился в руке Улукиткана.

Старик осторожно вытащил из дупла извивающийся черный пушистый клубок. Зверек неистово царапался задними лапками, задыхаясь, злобно фыркал в лицо охотнику. А Улукиткан стоял и глядел на добычу, словно завороженный. Ничего подобного он не видел в своей жизни.

Он повернул соболя черной спиной к солнцу — и точно кто-то брызнул по ней серебром! А черная шерсть на ярком свете казалась еще черней. «Казак! * Вот повезло на старости лет! Выходит, неправда, что счастье в старости совсем покидает человека. Ишь как хорошо получилось! Эко удивится Басиль!» И, продолжая любоваться соболем, старик уже представил, как он вернется на стой-

---

* Казак — высший сорт соболя, черный.

бище, поднимется по деревянным ступенькам в лавку, как положит на стойку «казака» и как ахнут все от удивления.

Он протянул руку с соболем к Пакету, чтобы пес лучше запомнил запах драгоценного меха. Но соболь, както изловчившись, чиркнул собаку острыми зубами по морде. Пакет с визгом отскочил, но в следующее мгновение яростно бросился к зверьку, сбил старика с ног. Падая на россыпь, Улукиткан не удержал драгоценную добычу. Соболь мелькнул в воздухе черной молнией, упал на снег и огромными прыжками устремился к леску. Пакет кинулся следом...

Улукиткан вскочил, схватил бердану, но увидел лишь горбатую тень, скользящую по снежной белизне, и бегущего за нею Пакета... Отбросив ружье, он прикрыл ладонями лицо и долго стоял, беспомощно сгорбившись, маленький, тщедушный. Он проклинал свои костлявые руки, свою старость. Присев на пень, он, сам не зная почему, достал из кармана лепешку, отломил маленький кусочек и, положив в рот, стал лениво жевать. Сердце его ныло от обиды, в руках еще не унялась дрожь.

Он тоскливо осмотрелся вокруг. Перед ним была все та же запорошенная снегом, в сказочном убранстве тайга, необыкновенно ласковое солнце и такое синее небо, хоть пей его. Где-то в чаще одинокий дятел дробил своим стуком тишину, какая-то крохотная птаха, наверно синичка, пыталась сложить свой незамысловатый мотив. И ветерок покачивал нагретый зимний воздух. И старику вроде полегчало, обида отлегла от сердца.

«Да что я, в самом деле, совсем никудышный, чтоб из-за соболя так расстраиваться! Значит, не суждено мне было его добыть. Старость тут ни при чем».

Он поднял и накинул на плечо бердану. Ясно, что теперь соболь тут не задержится, уйдет далеко. «Не буду больше испытывать на нем свое счастье».

Старик подошел к береговому обрыву. Дальше, за

Аргой, лежала бугристая равнина, сглаженная к горизонту белизной снегов. На ней кое-где были видны узкие полосы ельников, будто черные незажившие шрамы земли. «Там наверняка белка живет, ее места», — подумал Улукиткан и уже хотел было спуститься на реку, как где-то слева послышался треск сучка под чьей-то ногой.

«Зверь!» — заключил Улукиткан и круто повернул лыжи в направлении этого звука, потянул свой след к чуть видневшейся сквозь морозную мглу пади.

Шел он осторожно, то крался по кустарникам, низко пригибаясь, то укрывался за толстыми стволами лиственниц. Совсем близко послышался тот же треск. Охотник огляделся по сторонам — никого не видно. Вокруг глубокая морозная тишь.

Улукиткан взобрался на мысок и, прижавшись к дереву, огляделся. Впереди резкой темной полосой начинался сосновый бор. Правее его, по падям и заснеженным холмам простиралась старая гарь. Улукиткан внимательно всматривался в гарь, в подлесок, но ничего не мог различить. «Лет десять назад — враз бы увидел, а теперь лешевы глаза хоть выколи!»

И вдруг слева, совсем близко, послышался скрип снега под чьими-то тяжелыми шагами. Улукиткан глянул туда и сильнее прижался к сосне: «Сохатый!» Вот он весь повернулся к охотнику, прислушался, навострив уши. Что-то, видимо, встревожило его.

Улукиткан, пожалуй, еще не видел в жизни такого огромного зверя. Весь облитый солнечным светом, он казался прямо-таки великаном. Темной масти, а спина совсем черная. На голове корона широченных рожищ. Могучая грудь. «Однако, жирен!» — дивился старик, примериваясь глазом к зверю, от которого его отделяли слева по увалу редкий ольховник, а справа падь, заваленная упавшими стволами сгоревшего леса. Место неудобное для скрадывания, земля завалена сухими сучьями, малейшая неосторожность — и прощай добыча! У сохатого от-

личный слух и хорошее чутье, но зрение неважное. Он житель леса, а в лесу видимость короткая, и у сохатого выработалась как бы близорукость в отличие от обитателей открытых мест, степей и гор, где зрение имеет первостепенное значение. В двух сотнях шагов вряд ли сохатый отличит человека от пня, зато его шаги он услышит за версту. И все же Улукиткан решил подобраться к зверю по гари.

Пятясь задом, он спустился с мыска, скатился к реке. Достал из котомки длинные чехлы, сшитые из собачьих шкур шерстью наружу, натянул их на свои широкие лыжи. Зимою в тихую погоду только в них и скрадешь зверя — собачья шерсть глушит под лыжами шорох снега.

Воздух недвижимо висел над разогретым лесом — это для скрада не очень-то хорошо. Старик сбросил с плеч поняжку — лишняя тяжесть ни к чему. Затянул потуже ремень на животе и подоткнул под него полы дошки, чтобы ногам было свободнее шагать. Еще раз оглядел гарь, усеянную мертвыми деревьями. И бесшумно двинулся вперед.

Вот и выскорь — замеченная с мыска старая лиственница, падая, подняла своими могучими корнями большой пласт земли, точно щит, поставленный на ребро. Надо добраться до него — и можно стрелять. Слышно, как лениво шагает зверь по снегу, как с треском ломает тальник и смачно жует молодые побеги.

Улукиткан занес ногу, чтобы перешагнуть через валежину, но пошатнулся и наступил лыжей на сухой сучок. Треск сломанного сучка в тишине показался взрывом. Улукиткан, ухватившись за сушину, замер. Но зверь, почему-то даже не пошевелив головой, продолжал кормиться. «Эко, спокойный какой!» — удивился Улукиткан и осторожно перенес через валежину вторую ногу.

Он подкрался к выскори. Перевел дух. Глянул в щель между корнями. Сохатый был от него шагах в пятидесяти и весь на виду. Улукиткан развязал кожаную сумоч-

ку, висевшую сбоку, достал из нее патрон с большой пулей и перезарядил бердану. Не торопясь просунул в щель ствол...

Зверь, видимо, что-то почуял, вскинул рогатую голову, поставил торчмя уши и замер. Но было уже поздно. От выстрела дрогнула тайга. Сохатый круто развернулся, спотыкаясь, бросился вверх по пади, но, не одолев крутизны, повернул назад, вниз. В слепом беге, наскакивая на сухостой, грудью руша снежные наметы, с треском подминая под себя молодые деревья, он уходил к Арге. И там, у реки, внезапно оборвался его бег.

Старик постоял, еще не уверенный в удаче, еще не зная, насколько тяжело задела пуля сохатого. Он разрядил бердану, продул ствол. До его слуха долетел гортанный крик какой-то птицы, должно быть, первой увидевшей свалившегося сохатого. Вот и горностай прошмыгнул мимо старика в ту же сторону. Этот запах крови слышит далеко. Над рекой появилась стайка кукш. «Ничего в тайге от них, негодников, не скроешь, исподволь за всем следят, все видят и тотчас передают друг другу», — подумал старик и, не задерживаясь, пошел на крик птиц.

«Знал бы Василь, что я добыл сохатого, наверно, не пожалел бы оленей, поторопился. Он любит отварную жирную грудинку, хорошо нынче угощу его!» — старик совсем забыл о неудаче с «казаком», вновь поверил в себя.

По пути поднял брошенную котомку. Снял с лыж чехлы, приторочил чехлы к поняжке. Все так же не торопясь, направился к убитому зверю. «Должно же было мне сегодня повезти... Пожалуй, еще проживу своей добычей, не нужно мне занимать на жизнь у кого-нибудь. Еще будут радости...» И внезапно до тошноты, резко он ощутил голод. Вспомнил, что с утра ничего не ел, лишь выпил кружку чаю у дупляной сосны.

След раненого зверя с гари свернул вправо, к вид-

невшейся в сосняке полянке. Тут Улукиткан увидел лежку, залитую кровью. Но самого зверя не оказалось. Старик внимательно осмотрел лежку. Зверь лежал на левом, кровоточащем боку, головою к своему следу. Эвенк припомнил, что в момент выстрела сохатый стоял к нему правым боком — значит, пуля прошла навылет. Не должен бы далеко уйти...

Улукиткан направился к Арге, куда раненый зверь потянул свой след. И вскоре он увидел за рекою, на заснеженной мари живую черную копну, медленно движущуюся на юг, к темноту ельнику у горизонта. Это был его сохатый. По тому, как он медленно уходил от опасности, эвенк заключил, что ранен зверь смертельно. Он заторопился — ишь как солнце-то уже низко!

Шел и думал о сохатом: «Зачем, на свою беду, ты так неосторожно ломал тальник, оставляя такие после себя следы, ведь они свели мою судьбу с твоею. Теперь мы идем одной тропою, будто связанные длинным ремнем. И возле нас близко смерть. Кого-то из двоих она скоро схватит за горло. Ты можешь рассчитывать только на себя. И я тоже. У тебя рана, а у меня старость. Тебе надо уйти, а мне догнать тебя. Нам обоим одинаково трудно...»

Старик вдруг почувствовал тяжесть и боль в своих усталых ногах. Остановился в нерешительности. «Хорошо, если до темноты догоню, возле убитого зверя ночевать легко, приятно, а если добычу упрячет от меня ночь? Однако лучше вернуться на табор, а завтра утром выйти в погоню со свежими силами, никуда зверь не уйдет от своего следа». Улукиткан готов был уже повернуть лыжи, но снова задумался: «Сын Василь, наверно, уже пришел на табор. Не скажет ли он с усмешкой: стар ты, отец, не охотиться тебе больше, если бросаешь в тайге раненого зверя?..» Старик колебался. Склонившись грудью на посох, он смотрел, как уходила от него добыча. И чувствовал, что у него сегодня уже нет сил гнаться за нею.

Издалека с заречной стороны до него донесся вой — то растеклась по заснеженной равнине голодная волчья песня. Улукиткан увидел, как сохатый, заслышав волка, шарахнулся в сторону, пробежал немного, остановился, опустив рога к земле, охваченный предчувствием новой опасности, готовый обороняться.

«Ишь, как скоро учуял, проклятый хищник! Но нет, не дам тебе поживиться», — подумал Улукиткан о волке и решительно повернул лыжи за Аргу. Мясо зверя, пораненного волком, считалось непригодным в пищу, такой таежный закон. Не дать волку опакостить добычу — это было теперь для старика главным.

Перебежав по льду реку, Улукиткан выбрался на марь. Последние лучи закатного солнца косо пересекали снежную белизну. На ней черным пятном маячил сохатый, он с трудом вышагивал по кочкам все в том же направлении — к ельнику. Иногда останавливался, поворачивал голову в сторону, откуда донесся вой, и надолго застывал на месте в тревожном ожидании. Страх перед хищником, видимо, на какое-то время оттеснял от него опасность, которую он чуял позади, — шедшего по его следу человека.

Улукиткан сошел с лыж, поставил их торчком в снег, чтобы на обратном пути было легче их найти. На мари на них далеко не уйдешь. Не выпуская из виду сохатого, он зашагал быстрее. Кочки, иногда высотою до пояса, очень затрудняли путь. Но мысли о волке заставляли Улукиткана торопиться. И хотя он понимал, что не в его годы состязаться с быстроногим и злобным хищником, все же решил не отступаться от своей добычи.

Сохатый стал чаще останавливаться. Видно, его покидали силы.

Может быть, так и догнал бы его старик, но послышался снова одинокий вой голодного волка, и лесной великан вскочил, охваченный страхом, он спешил скрыться в лесу, но у него уже ноги подламывались, рана болела

и кровоточила, и только врожденная чудовищная выносливость толкала сохатого вперед.

Проклятые кочки вконец измотали и силы старика. Когда раненый зверь останавливался, останавливался и старик. Опираясь жилистыми руками на посох, он отдыхал. Казалось, между ним и сохатым установилось какое-то равновесие в движении и во времени. Но зверь шел все медленнее, и это обнадеживало охотника. Он рассчитал, что до темноты ему удастся приблизиться к сохатому на выстрел и тогда кончатся страдания и зверя и его собственные.

Волк был где-то совсем близко. Улукиткан, напрягая последние силы, подбирался к раненому сохатому, ползком хватаясь руками за кочки. Сохатый, почуяв его приближение, повернулся к охотнику, сделал два огромных прыжка в его сторону и замер, пораженный близостью человека. Но не побежал. Вечный страх перед ним уступил чему-то другому, более сильному.

Улукиткан поднялся с земли. И вот зверь и охотник стояли открыто друг против друга. Оба обессилевшие, но полные решимости. Старику надо было пройти еще шагов тридцать, чтобы стрелять наверняка. Но его ноги не в состоянии были сдвинуться с места. Но соблазн был слишком велик — гора мяса, огромная шкура. И он встал, опираясь на бердану. Сохатый фыркнул, переместил все четыре ноги на шаг вперед, но удержался, не упал и медленно двинулся навстречу эвенку. Вооруженная тяжелыми рогами, с выброшенными вперед острыми надбровными бивнями голова зверя была низко опущена. Улукиткан знал, как опасен раненый сохатый.

Не мешкая, он перезарядил бердану оказавшимся единственным при нем большим зарядом. В это время на том месте, где стоял раненый зверь, поднялся огромный столб снежной пыли, сквозь которую замелькали взмахи рогов вздыбленного зверя, послышался храп и

стон, ударами сильных ног сохатый рушил мерзлые кочки, разбрасывая далеко от себя черную землю.

Эвенк невольно вскинул бердану. Справа от головы сохатого он увидел серую тень волка. Это был матерый бирюк — одиночка. Голод заставил его в одиночку начать схватку с сохатым, возможно, волк понял, что его могучий противник ранен. Затяжным прыжком он хотел схватить сохатого за горло, но промахнулся и лишь на какой-нибудь волосок увернулся от смертельного удара передних копыт сохатого. Волк быстро оправился, еще больше рассвирепел. Он-то знает, как брать такую крупную добычу, только бы вцепиться сохатому в горло, тогда достаточно одного сильного рывка — и жертва захлебнется собственной кровью. Но горло оказалось под охраной острых рогов и сильных ног, способных одним ударом пересечь пополам любого хищника.

Волк вдруг переменил тактику, решил взять зверя сзади. В лесу бы сохатый прижался задом к выскори или толстой лесине и ничего бы ему не сделала даже стая волков, а тут, на открытой мари, он был беззащитен. Он разгадал маневр хищника, мгновенно повернулся к волку.

Улукиткан видел, что сохатый, отбиваясь от разъяренного волка, пятится задом к нему, все ближе и ближе. «Еще немного — и пальну». Старик приподнял ствол берданы вверх, прижал ложу к щеке и внезапно понял: зверь, доверчиво отступая в его сторону, как бы ищет у него защиты. И он опустил ружье... В это время сохатый приподнялся на задних ногах и в следующее мгновение обрушился всей своей огромной тушей на волка. Тот отскочил, но, ударившись о кочку, упал и тут же был насажен на острые бивни лесного великана. Сохатый поднял волка высоко, как бы показывая невидимым врагам, на что он еще способен, и тут же сам со стоном рухнул на землю.

Волку стоило огромных усилий сойти с рогов. Он сно-

ва накинулся было на сохатого, но силы его иссякли. Хищник начал кататься, хватая зубастой пастью снег, и пополз прочь, оставляя на мари кровавый след.

Улукиткан встал, направился к сохатому, шел не таясь, держа наготове бердану. Хотел подойти поближе и наверняка покончить с сохатым: «Неправда, что счастье откачнулось от меня. Это ли не фарт!»

Сохатый увидел приближающегося человека, с трудом приподнял перед, потом зад. Встал. Еле удерживаясь на ломких ногах, шагнул навстречу охотнику. В его движениях, в позе, в том, как он держал гордо приподнятую голову, не было страха. Большие круглые глаза, в которых пылал закат, смотрели на эвенка печально, беззлобно. В них было столько мольбы, столько жажды жизни! Старик не выдержал, опустились руки. Он хотел отвернуться, чтобы не видеть этих грустных, совсем человечьих, осмысленных глаз, но не мог. И стрелять не мог. Взгляд зверя перевернул всю душу Улукиткана...

Себя не узнал — отступился от добычи. Возвращался к Арге своим следом. Нес в голове тяжелый необычный для охотника груз — жалость. «Это она заставила уйти от сохатого. Видать, не промышлять мне больше зверя».

Спустившись к реке, эвенк прибавил шагу. Лыжи легко скользили по гладкому льду. До этого он вроде не замечал старости, старался не касаться отгораживался от нее, не признавал ее, видел у других, не у себя. И вот она пришла к нему как бы нежданно, без примет, не предсказанная сном, в первый, долгожданный день охоты. Пришла окончательно, властная, неуступчивая. «Стар я, что и говорить, добыча бежит от меня, как птица от пожара».

Он почувствовал ноющую боль в спине. Ноги дрожали, подламывались. Немая слабость растеклась по всему телу. Удары сердца тяжело отдавались в голове. Только

бы не свалиться, добраться до табора. Пустая котомка вдруг стала тяжестью.

На холодных плечах скупой земли потухал кровавый закат. В этот короткий час, между светом и тьмою, когда в сумерках снежная белизна сливается с тьмою, смолкает робкий щебет синиц, исчезает ветерок и воздух становится необыкновенно чутким, как в летнем зное паутина.

Табор пустовал. Басиль еще не приехал. Улукиткан ждал его позднее. «Как бы кстати сейчас была печенка и отварное жирное мясо!»

Старик не стал устраивать ночлег, ушел искать оленей. Да разве их сразу найдешь! «Глупая порода, на месте не кормятся, от ягеля бегут, чего ищут — не знают», — досадовал старик. Одного ездового только и нашел, привел к табору.

Но на этом не закончился день. Надо было принести и наколоть дров, натаять воды, сварить ужин. Много дел, пока обретешь сон.

Поздно прибежал Пакет. Принес длинный язык да отяжелевший хвост. Ему было не до еды! Примостившись между корней под старой лиственницей, собака долго зализывала натруженные подошвы лап.

Из мутной бездны горизонта шла беспокойная ночь. Тьма накрыла табор. За Аргою, где потухло солнце, небо слилось с землею. Загудел ветер. Он шел с Охотского моря, сковывал стужей поверженные горы, реки и запорошенную снегом тайгу. Старику казалось, ветер разбудил шаманов и пошел куролесить по зейским просторам с бубнами да со свистом. Закружились над стоянкой хрупкие пушинки снега, они падали на землю, но порывы ветра подхватывали их и в дикой пляске гнали дальше в кромешную тьму.

Снизу донесся крик ночной птицы, короткий и печальный.

Ослепленный мраком, старик долго стоял, тревожно

прислушиваясь к лесному шуму, ждал, не донесется ли с Арги знакомый перезвон бубенцов на шеях оленей Басиля.

Продрогший, вернулся в палатку. В печке весело гудело пламя.

Старик страшно устал. Устал, может быть, больше от неудач, чем от долгой ходьбы по тайге и хлопот на таборе. В его ли годы такая нагрузка?! Нож валился из рук, веки смыкались, хоть подпорки ставь! «А дождаться Басиля надо. Сын приедет, надо выйти помочь ему, разгрузить нарты».

Улукиткан разбросал по притоптанному снегу еловый лапник для сына, заботливо ощупал его — не будет ли ему жестко спать. Кое-как, на четвереньках добрался до своего места и прилег не раздеваясь. «Басиль приедет — поужинаем вместе, тогда заберусь в спальный мешок».

Мысли сменяли одна другую. Каким долгим был его путь на земле! Вспомнились тропы. Они на всю жизнь врезались в память. Все прошлое переплетено ими. То он видел их торными, то в болотах топкими, зыбкими, еле приметными глазу, то взбирающимися по камню на крутизну. Тропы никогда не останавливались на месте, они шли, бежали — и тащили его за собою. Никто не знает, в каких далеких краях эти таежные тропы начинаются и где кончаются. И кто знает, что хранят в своей молчаливой памяти эти черные борозды, секущие лесное пространство вдоль и поперек? Кому поведают они тайны брошенных на их пути огнищ, захоронений, каменных курганов?

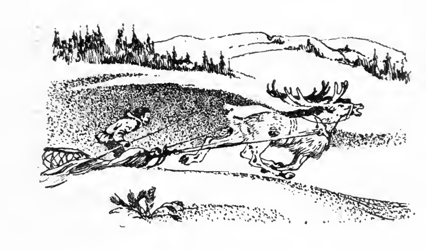
В палатке аромат разнеженной теплом хвои. Улукиткан нет-нет да и прислушается к гудящим порывам ветра. Жалеет, что с вечера не наколол еловых плах, правнуку лыжи обещал сделать, вот и вытесал бы их теперь, дожидаясь Басиля: «Эко, не догадался!»

Одиночество никогда не было Улукиткану тягостным.

В одиноких скитаниях по тайге и горам он прожил большую часть своих дней. А теперь его жизнь совсем сузилась, и он живет наедине со своими думами. Все чаще мыслью он обращается к прошлому. Он просеивает это прошлое через житейскую мудрость, судит себя самого...

В печке весело потрескивали лиственничные дрова. Спать Улукиткану совсем не хотелось. Верно, что к старости сон сменяют думы. На этот раз вспомнился ему давнишний случай. Улукиткан хранил его в своей памяти со всеми подробностями, никогда раньше не пытался переосмыслить ход давно ушедших событий. Эти воспоминания увели старого звенка далеко от Арги, от его последнего табора, в далекое прошлое, в другие времена.

Улукиткан увидел себя молодым...



ТАЕЖНЫЕ КЛАДЫ ЗЕМЛИ

За лиловыми грядами гор угасал темный осенний день. Эвенк вел аргиш через старую гарь. Впереди шли связки оленей, груженных скарбом лесных кочевников. За ним, путаясь среди стволов упавших деревьев, плелось разрозненное стадо самок и молодняка. Люди и животные устали. Давно пора было остановиться. Женщины ворчали на мужчин — куда они тянут тропу в ночь! Потемну не так легко поставить чум, накормить всех и уложить спать детвору. Но мужчины точно оглохли. Они спешили, пока еще светло, добраться до реки Зеи, перебраться на левый берег и там отабориться.

На той стороне реки кочевников ждала зверовая охота. Август — пора жирного мяса. Хорошо навялить его для зимы. Да и шкура осеннего зверя куда с добром для половинки *. Вот и торопились скорее к месту.

* Половинка — самодельная замша.

На высоком берегу Зеи аргиш задержался. Ниже река делала крутой поворот вправо, всплескивала у последней шиверы и, не успокоившись, уходила в тревожную даль.

Улукиткан оглядел реку, узнал место, вспомнил, что выше у шиверы брод. Тронул оленей к спуску. Внезапно слева донесся выстрел. Все повернулись на звук, замерли. Встреча с человеком в этой глухой, далекой тайге — большое событие в жизни кочевников.

Долго стояли, ожидая, не подаст ли человек еще какой знак о себе. Кто он, какие дела привели его в этот безлюдный край?

Улукиткан отстегнул от связки учага, вскочил на него и, не сказав ни слова, погнал оленя в направлении, откуда донесся выстрел. Остальные спустились к реке и на берегу решили заночевать. Не лезть же в воду без Улукиткана.

Далеко за ельником эвенк наткнулся на след чужого каравана. Соскочил на землю, ощупал рукою примятый копытом ягель. «Недавно прошел», — заключил он. А что это?! Отпечаток большого сапога! «Однако, лючи! Наверное, купец везет товар, много товару, ишь как грузнут ноги оленей в землю!»

За промоиной Улукиткан увидел знакомый холм. Он выступал из сумрака острой залесенной вершиной. За ним у ручья старинное чумище кочевников — постоянное пристанище кочующих эвенков.

Скоро ветерок набросил дым, затем послышался лай собаки. Сквозь поредевший лес блеснул костер. Улукиткан унял бег оленя.

От огня отошел пожилой эвенк, заслоняя ладонью глаза от света костра, издалека рассматривал гостя. Узнал, бросился навстречу, и через минуту оба эвенка, обнявшись, похлопали друг друга ладонями по спине.

— Слушай, начальник, — крикнул эвенк сидевшему у

костра за чаем человеку, — искать больше не надо Улукиткана, сам пришел!

Тот поднялся, шагнул вперед, поймал маленькую руку Улукиткана огромными своими руками, улыбнулся, будто перед ним стоял давний знакомый.

— Вот ты какой, Улукиткан, — с ноготок, а я представлял тебя лесным богатырем, — сказал он, продолжая рассматривать эвенка. — Рад, что встретились. Меня зовут Сергей Дубков. Много дней мы тут ищем тебя.

Улукиткан неопределенно повел плечами и, не сводя глаз с лючи, думал: «Видать, молодой, а какой большой и тяжелый, одни обутки с пуд весом. Лицо длинное, нос горбатый, как у старого сокжоя». Потом он быстрым взглядом окинул стоянку. Ничто не ускользнуло от его придирчивых глаз. «Однако, не купец, тогда какая нужда загнала его сюда?»

Удивленный равнодушием Улукиткана, Дубков сказал:

— Что же не спросишь, почему рад тебе?

— Сам скажешь, коли охота будет, — ответил бесстрастным голосом эвенк.

Дубков улыбнулся, закивал головой и, обняв гостя, усадил к костру.

— Много наслышан о тебе, Улукиткан, только ты можешь мне помочь... Ну об этом потом поговорим. Пей чай, угощайся. Вот тебе сахар, — он пододвинул к соседу сумочку.

— Сахар — хорошо, шибко хорошо, — и Улукиткан бережно взял в руки кусочек, осмотрел его с любопытством, точно впервые видит, пососал и положил в карман. — Детишкам понесу, их язык еще не знает такую сладость.

— Для детей у меня есть особо, так что пей чай с сахаром, бери, не стесняйся, — уговаривал Дубков.

Но гость больше не дотронулся до сладости, считая, что слишком накладным будет для хозяина это угощение.

— Откуда тропу тянешь? — спросил он собеседника, все еще с любопытством рассматривающего его.

— От самого Петрограда.

Улукиткан с уважением посмотрел на Дубкова и кивнул головой.

— Однако, далеко твое стойбище. — И после небольшой паузы сказал: — Старики наши толмачили, будто лючи своего царя скинули. Будет большой фарт для всех людей. Правда ли?

— Правда, правда, Улукиткан! — заверил Дубков, довольный скупым и точным словом эвенка. — Большой фарт для людей! Большевики это сделали. Не надо никакого царя — народ хозяин земли. Кто не работает, тот не ест! Понимаешь?

— Ладно говоришь, — согласился Улукиткан и взглянул на Дубкова, — и про большевиков толмачили старики, да, однако, их тут никто не видел, какой такой большевик?

— Говоришь, не видели, так посмотрите: я большевик!

— Эко, большевик! — удивился эвенк, отставляя кружку с чаем и весь поворачиваясь к нему.

Взглянул на него с изумлением, будто только сейчас заметил, какой он большой и сильный. «Такому и правда ничего не стоит скинуть самого царя», — подумал эвенк.

— Чего так смотришь? — спросил Дубков.

— Надо хорошо запомнить, какой такой большевик, затем эвенкам рассказывать буду. Эко удивятся! Такой новости могут не поверить, скажут — Улукиткан придумал... Нешто все большевики такие большие, как ты? — спросил он.

— Нет, что ты! — Дубков громко рассмеялся и ласково посмотрел на эвенка. — Большевик не обязательно ростом большой. Большевик за свою землю душой болеет, людям добро делает, большие дела затевает. Я слыхал, ты тоже большевик?

— Я? — Улукиткан стукнул себя пальцем в грудь.

— Да, да, — закивал Дубков с серьезным лицом. — Тайгу любишь, чужого не хочешь, своими руками пищу добываешь, значит, хороший человек. Большевик.

«Чудной этот лючи, однако, ладные слова говорит! — с удовольствием думал Улукиткан, доливая себе чаю. — И глаза у него прямо глядят, не плутуют».

— Моя семья, олень, чум — тут, — сказал он, кивнув в сторону Зеи. — Кончаем чай пить, пойдем в наше стойбище. Там ночевать будем.

— Не возражаю, — обрадовался Дубков.

Путники собрали еще не отдохнувших оленей, набросили на их спины вьюки, и Улукиткан повел караван Дубкова на свою стоянку, к Зее...

На таборе сразу узнали проводника Дубкова — пожилого эвенка. Обрадовались. Но внимание всех привлек лючи. Его огромная фигура, лицо с большими круглыми глазами, необычная одежда, громадные сапоги — все вызвало почтительный интерес кочевников.

Женщины начали вытаскивать из котлов поспевшее мясо и усаживать всех за трапезу. Но разве могли они оторвать взгляды от туго набитых поток, что свалил со спин оленей гость, и унять свое любопытство! Дубков заметил это, не стал испытывать их терпение. Сразу же после приветствий подтащил к костру вьюк и, усевшись возле него, не торопясь стал развязывать ремешки. Все замерли, забыв о кусках дымящегося ароматным парком горячего мяса. Глаза детей и женщин с жадным нетерпением следили за руками лючи. На таборе наступила тишина. Дубков неторопливо вытаскивал из потки какие-то свертки, сумочки, железные коробки и складывал горкой возле себя. Женщины, приняв лючи за купца, сидя на корточках, ждали, что сейчас увидят добротные цветные ткани, сверкающие бусы, кольца, еще какие-нибудь диковинки, и шепотом прикидывали между собою, какую цену с них запросят лючи за эти товары.

Гость развернул ситец. Яркие краски невиданных ри-

сунков обворожили кочевниц. Лючи поровну разделил между женщинами весь кусок, каждой отмерил по горсти разноцветного бисера. Мужчинам поднес по трубке и по охотничьему ножу. Детям по банке конфет.

«Удивительный лючи, он ничего не требует за товар, еще смеется. Эко дурной купец, задарма отдал, что ли?!» — удивленно перешептывались между собой эвенки.

Наконец уселись за ужин. Все даже устали от любопытства, от подарков и восторгов. Улукиткан посадил гостя рядом с собой.

Дубков достал бутылку спирта, передал Улукиткану. Снова все встрепенулись — спирт!.. В ту далекую пору он был всемогущим. Ни один эвенк, от малого до старого, не мог устоять перед этим соблазном.

Женщины и подростки враз похватали деревянные чашки, повскакивали со своих мест и обступили Улукиткана. Тот ловким ударом ладони выбил из бутылки пробку, прикинул в уме, на сколько частей делить, и стал разливать спирт по чашкам. Никого не обидел, никому лишней капли.

Все выпили, поморщились и снова расселись по местам.

Улукиткан пошарил в кармане, вытащил кусок сахара и показал его детворе. В детских глазах недоумение: они никогда не видели такого белого как снег камня. А отец не торопясь взял нож, положил сахар на левую ладонь, ловко расколол его на мелкие куски, раздал малышам.

Спирт развязал языки. Веселый говор перемежался с потрескиванием головешек в костре и шумом убегающей в ночь реки. Женщины с детишками ушли в чумы. У костра остались гость с проводником, Улукиткан с братом.

— Что еще у тебя в потках? — спросил Улукиткан, поворачиваясь к Дубкову и отставляя пустую кружку. — Женщины до утра не уснут, пока не покажешь им то-

вар. Может, менять будем на камаланы, на выдру, на унты?

— Не с товарами ехал к тебе, Улукиткан, а то, что дал вам, — то мои подарки, за них ничего не надо... Я не купец. Я геолог, как инженер Успенский, которого ты водил по Становому. Помнишь его?

— Как не помню! Хороший лючи. В одном чуме жили, один след тянули. Шибко хороший человек, — глаза эвенка потеплели.

— А я его ученик. Поклон тебе привез от Успенского. Он сам хотел сюди идти, да не смог. Работы много. Теперь он большой начальник. Меня послал. Велел непременно отыскать тебя. Сказал, что ты можешь пособить нашему делу.

— А что за дело?

— Большое. — Дубков потряс над головою ручищами. — Горы твои, Улукиткан, как сундук. Много в них добра: золото, железо, руды разные... Да найти их нелегко. Успенский говорил, что ты знаешь, как к ним добраться. Можешь ты провести меня к этим горам?

— Можно, почему нельзя? — задумчиво глядя в огонь, сказал Улукиткан, предаваясь каким-то своим мыслям. Но вот он всем телом повернулся к геологу. — Пошто раньше не пришел, когда лето было? А теперь как бросить семью? Скоро зима, надо ловушки делать, речку городить — рыбу поймать, одежонку теплую шить, — кто будет это делать, коли я пойду с тобой?.. Не знаешь! То-то! А на железо ни один купец лепешку не даст! Разве ты не знал, что у эвенков в это время всегда много работы?

— Знал, но так получилось, — тихо возразил Дубков.

— Летом или весной приезжай — слова не скажу. А теперь не то что люди, бурундук, однако, смеяться будет: эко, Улукиткан семью бросил в зиму!

— Ты прав, Улукиткан, — согласился геолог и добавил с надеждой в голосе: — Пойдем в горы с семьей, с оленями, там и промышлять будешь.

— Что ты! — испуганно замахал руками эвенк. — Где золото — никто не охотился. И речка не наша, эдяму* ее своей считают. Никак идти нельзя, — убежденно заключил Улукиткан.

Дубков сник и помрачнел. Не ближний свет — от Петрограда до истоков Зеи — лежал его путь, и вот такая неудача.

Пламя, вырываясь из-под толстых головешек, освещало сидящих у костра. Улукиткан перевел брату разговор с Дубковым, тот выслушал молча, с бесстрастным лицом, потом ушел в свой чум. За ним отправился и проводник Дубкова. Гость и хозяин табора остались у костра одни.

— Послушай, Улукиткан, — в голосе Дубкова зазвенела просящая нотка. — Не для меня это нужно. Для людей. Для всей страны. Пойми: ведь, если у тебя нет ружья и пуль, ты же не сможешь охотиться... А нам нужно железо, чтобы и у вас были ружья и припасы, чтобы больше было у людей ситцу и сахару.

— Однако, ты плохо думаешь об эвенках. Надо, надо повести тебя. Но правду говорю: не могу! — с огорчением ответил Улукиткан.

Догорали последние головешки, когда пошел дождь. Мелкий, почти неприметный в ночи, он шелестел по листве, по гальке, монотонно барабаня по берестяным крышам чумов. Ветер и дождь слились с тьмою, и только река, чуть белея, колыхалась на перекате.

Дубков расстроенный ушел к себе в палатку.

Утром на стоянку насела осатаневшая после дождя мошка. Олени, прижавшись вплотную друг к другу, стояли у дымокуров. Улукиткан с братом осматривали стадо, ощупывали бока и спины животных, заглядывали им в

---

* Эдяму — род эвенков.

глаза, по каким-то известным им приметам отбирая подходящих животных. Они отобрали самых рослых и сильных быков, отделили их от стада, поставили к отдельному дымокуру.

— Неужели вы собираетесь по такой воде вброд переходить Зею? — спросил геолог Улукиткана.

— Что ты! Думаешь, Улукиткан совсем дурной!.. С тобой в горы будем ходить.

— Со мной?.. — переспросил Дубков, чувствуя, как спазма сжимает ему горло.

— Ночью мы много думали с братом, — спокойно продолжал эвенк, подкладывая в дымокур гнилушки. — Наши предки говорили так: коли в твой чум пришел добрый гость, да еще издалека, ты так делай, чтобы он ушел еще больше добрый... Вот утром я сам себе и сказал: «Какой, Улукиткан, ты большевик, коли не хочешь, чтоб всем людям фарт был?»

Дубков, не в силах сдержаться, пригнулся к эвенку, крепко обнял его.

— Славный ты мой человек! Большевик! — смеясь увлажненными глазами, бормотал он растроганно.

— Однако, ты как амакан! Эко, сильный какой, — с восхищением сказал Улукиткан, когда Дубков, покружив его, поставил на ноги, и добавил: — Почто стоишь? Собирай вьюки, связывай, скоро ходить будем.

Дубков бросился было к своей палатке, укладывать вещи, но его поймал за руку Улукиткан, загадочно прошептал:

— Только не шибко радуйся. Мусунин может рассердиться, не пустит нас!

— А кто такой Мусунин? — спросил геолог.

— Дух гор и тайги.

— Духи не вольны над человеком, — заметил Дубков.

— Не скажи так. Они ничего не прощают людям. Могут чум сжечь, не туда завести, оленей угнать — все могут, если плохо почитаешь их... Надо уйти незаметно,

пусть они не догадаются, что я повел тебя в запретные горы.

— Почему запретные? — удивился геолог.

— Туда эвенки никогда не ходили, никто не знает, что там.

Дубков не стал спорить — лишь бы эвенк не изменил своего решения. Он с интересом следил, как Улукиткан вьючил оленей. К чему бы ни притрагивались его руки — все делалось удивительно споро и ладно. Он ловко накидывал спаренные потки на спины оленей, перехватывал их широкой подпругой, похлопывал животное по крупу и что-то строго и ободряюще говорил при этом.

Улукиткан собрал всю семью в чуме, чтобы тайно от духов попрощаться с нею и дать ей нужные советы и наказы. Потом попросил брата отвести готовый в путь караван к лесу. Сам пришел туда позже, крадучись, кружным путем.

Светлый лазурный купол неба висел над Зейской долиной. Солнце светило вслед уходящим в горы. Возле берестяных чумов стояли с печальными лицами провожающие — женщины и детишки...

Угрюмые дебри тайги, впустив караван, снова сомкнулись. Мрачно и сыро под кровлей старого леса. Еле слышны всплески ручейка, шелест ветра в кронах и мягкое пришлепывание копыт вьючных оленей. Иногда лес обрывался, и караван выползал на залитые солнцем елани. Но вскоре снова его поглощала сумеречная синева темнолесья.

На голом пригорке, перед спуском, караван остановился. Надо было поправить вьюки. Улукиткан, проделав это, воткнул острие пальмы в пень и устало навалился на рукоять. Так он отдыхал, одновременно вглядываясь в предстоящий путь. Впереди по грудастой земле раскинулась тайга, опаленная осенним жаром. А справа за холмами, за зыбью поблекших болот вставали горные хребты, затененные снизу глубокими провалами.

— Так пойдем! — сказал Улукиткан, показывая рукою в сторону холмов. И начал спускаться с пригорка в голове каравана.

Черная птица обогнала караван и, усевшись впереди на вершине лиственницы, встопорщила перья, вытянула шею и подняла крик: «Кин-ко-ко... кин-ко-ко...» По всей тайге разнесся этот мрачный и хриплый крик.

— Слышь, худая птица шаманит беду! — крикнул Улукиткан, останавливая караван. Он выхватил из вьюка переднего оленя бердану, быстро зарядил ее и, не целясь, выстрелил. Ворон сорвался с лиственницы, отлетел дальше и снова уселся на вершине ели.

Улукиткан свернул с тропы влево, стал обходить вещую птицу. Он, крадучись, пробирался сквозь чащу, избегая открытых мест. Но ворон как будто следил за караваном и еще раз появился впереди. Тут уж и Дубкову появление птицы, ее наглый крик показались плохим предзнаменованием.

Улукиткан снова остановился, повернулся к идущему позади спутнику. Выронив поводной ремень из рук, он испуганными глазами смотрел на Дубкова.

— Напрасно пугаешься вороньего крика, — сказал геолог. — Делать ей нечего, вот и забавляется, каркает.

— Нет, — решительно возразил проводник. — Ворон — птица худая. В одном чуме живет со злым духом, заодно с ним думает. Сейчас он на наш след беду накликает.

Эвенк говорил приглушенно, в каждом слове его чувствовались страх и тревога.

— Духи считают клады гор своими, не желают, чтобы я вел тебя туда. Лучше бы нам вернуться, а то нашлют они горе на мое стойбище.

— Уверяю тебя, все хорошо обойдется. Пойдем вперед. — Дубков подошел к проводнику, одобряюще похлопал его по плечу.

Может, и не оставили мрачные думы эвенка, но он

ничего не сказал, уступил настоянию русского. Поднял с земли ременный повод и не торопясь зашагал по закрайку перелеска. Поворачивая голову по вправо, то влево, он продолжал настороженно прислушиваться к каждому звуку, к малейшему шелесту. Наверное, теперь ему казалось подозрительным все: и трепет листвы на ветерке, и всплески воды, и взлет вспугнутой птицы.

Ворон больше не каркал, остался где-то позади. В просветах лесных вершин по-прежнему голубело небо. В долине, куда спускался караван, выстилался туман. Бесчисленные ручейки скатывались с крутых склонов гор, наполняли воздух своим журчанием. Ветерок нес с вершин запах вечнозеленых рододендронов, запах накаленных солнцем курумов.

— Сколько дней нам до места идти? — спросил Дубков проводника, когда они остановились на привал.

Улукиткан неопределенно повел плечами.

— Очень далеко?

— Не знаю. Моя никогда туда не ходил.

— Как, то есть, не ходил? Ты же сказал, что знаешь, где есть руда.

— Это правда, знаю, но я там никогда не был.

— Значит, ты идешь впервые? — не без тревоги спросил Дубков.

— Ага.

— Найдешь?

Улукиткан молча допил чай. Налил в кружку свежего.

— Давно я с одним стариком промышлял сокжоев тут, наверху, — начал он и показал рукой на левобережный хребет. — Один раз старик сказал: «Видишь, где солнце начинает день, большие хребты в снегах? Там в речке много разных дивных камней, тяжелых и легких, мягких и твердых. И есть чистое золото. Туда ведет только одна тропа. Она спрятана в глубоких щелях гор, под стлаником. Никогда не ходи туда, то богатство не твое... Много людей ходили, только твой дед вернулся назад

живой. Он много чего видел в тех горах, да не мог рассказать».

— Почему? — спросил захваченный рассказом Дубков.

— Мусунин отнял у него язык, и дед до смерти молчал.

— Не сказку ли ты, Улукиткан, принимаешь за быль? — заинтересованно спросил геолог.

— Не скажи так, — перебил его Улукиткан. — Тот старик правду толмачил. И с дедом моим — правда. Отец мне говорил...

...Все дальше и выше уходил караван в глубь осеннего пространства, навстречу сырым, моросящим туманам, в безмолвие снежных вершин. Люди и олени месили усталыми ногами зыбуны, болота, кочковатые мари, прокладывали путь сквозь чащу и рискованные броды, карабкались по каменным уступам горных кряжей.

Наконец караван достиг снежных вершин и двинулся по их темным ущельям.

— От-от-от, — покрикивал Улукиткан, подгоняя оленей, и горное эхо многократно повторяло его голос.

По пути им попадались звериные тропы. Но Улукиткан от них пугливо шарахался в сторону, поясняя Дубкову, что отец ему говорил: «Пойдешь клад искать, тяни свою тропу, а те, что попадутся там, все кончаются несчастьем...»

Почти уже стемнело, когда уставший караван спустился на дно глубокого ущелья и остановился на узкой прогалине, возле ручья. Горы нависали над ними грозными силуэтами. Они казались неприступными, преграждали путь в завтрашний день.

Поставили палатку. Развели костер. Но ужин готовить не стали. Сил едва хватило разложить постели.

Улукиткан пробудился до рассвета. Осторожно вылез из мехового мешка, протер заспанные глаза, осмотрелся. Синее небо усыпано горячими угольками звезд. Горы спят

в туманной мгле. Дремотно плещется по камням притихший ручей.

Проводник быстро позавтракал и собрался в путь. В котомку положил топор, лепешку, кусок мяса. Торопился уйти до рассвета. И, не разбудив Дубкова, покинул стоянку.

Улукиткан вышел на высокую террасу, откуда казалось, будто кто-то гигантским мечом рассек горы, обнажив глубину земли. Справа над террасой нависали древние скалы. Слева зияли темные ущелья, врезающиеся в белизну снегов.

Долго стоял эвенк, опираясь на посох, всматривался вниз и вверх. «Тут все вроде так, как рассказывал когда-то старик, значит, есть здесь и проход через хребет. Но как его найти?» — рассуждал про себя проводник.

Улукиткан продолжал взбираться выше. А кругом ни кустика, ни травинки, ни единого живого существа. Не видно даже лишайников. Только камень. Камень на дне, на склонах, в вышине. Эвенк всем этим был не столько удивлен, сколько взволнован, ведь он впервые очутился в этих запретных высях. После роскошной тайги, богатых живностью озер и полян эти серые, безжизненные громады гор, ветхое небо над ними и непробудная тишина угнетали его. Все вокруг ему казалось мертвым, заколдованным злыми духами царством.

Прыгая с камня на камень, обходя опасные места, Улукиткан поднялся на последний откос. И тут, изумленный, замер. Слева пред ним открылся цирк, весь в зелени, убранный поздними цветами — вечнозелеными листьями бадана, ивки, белыми камнеломками. А на дне цирка покоилось озеро цвета утреннего неба, обросшее ярко-зеленым луком, осочками и разнотравьем. Эвенк не верил своим глазам. Улукиткан стоял, будто одурманенный этим чудом, и вдруг почувствовал, как что-то приятное, ласковое коснулось его лица, — это был утренний горный ветерок, совсем не такой, как сырой воздух ущелья.

Улукиткан вдохнул его полной грудью, еще и еще. И по этому дуновению угадал, что где-то близко есть сквозная щель — проход, который им был нужен.

Осторожно, с опаской, Улукиткан вошел в цирк. Гранитные стены как бы раздвинулись перед ним, и цирк до краев переполнился тишиной. Эвенк в восторге не знал, на чем остановить свои глаза. В недвижном голубом воздухе реяла паутина. Под ногами пышным бархатом стлались душистые травы и мхи. Длинные тени скал остриями уходили в озерную голубизну, такую чистую и плотную, как лед, что, казалось, по ней можно было ходить. На озерке Улукиткан увидел стайку водяных лилий, белых-белых, точно живых, внезапно застывших на взлете птиц. Казалось, взмахни рукой, и они, трепеща лепестками, вспорхнут, закружатся в прозрачном воздухе. Но в этой буйной зеленой роскоши не видно было ни одного живого существа — ни следа, ни звука, ни шелеста крыльев, — все застыло в неподвижности. И, как бы дополняя красоту цирка, оживив ее, у озерка откуда-то, будто из камней, появился сохатый. Он стоял на берегу с царственно приподнятой рогатой головой, не видя затаившегося за обломками эвенка, не чуя запаха человека в неподвижном воздухе. Сохатый был в брачном наряде. Черная с проседью шуба лоснилась на боках. И Улукиткана осенила обнадеживающая мысль: не пришел ли зверь к озеру той самой тропою, что ведет в соседнее ущелье?

Сохатый, убедясь, что ему не грозит никакая опасность, шагнул в воду, растревожив копытами недвижную синеву озера. Опустив тяжелую голову, он долго пил, всасывая сквозь сжатые губы холодную влагу. Потом шагнул назад. Два-три прыжка, и зверя не стало.

Улукиткан бросился его следом. У кустарника, где исчез сохатый, он увидел горную тропу и глазам не поверил.

Тропа обрывалась возле самого берега озерка — у водопоя. На ней были следы сохатых, медведей, снежных

баранов, сокжоев. И даже кабарожек — самых маленьких из оленей. Но ни один зверь не пошел дальше. Животных как будто пугали серые развалины скал за цирком, безжизненные россыпи, заплесневелый воздух мертвого ущелья, и они возвращались обратно.

Только теперь Улукиткан вспомнил слова старика, что вход, ведущий к перевалу, скрыт в густых стланиках. Он пошел по тропке, где только что пробежал сохатый, и, выбравшись из зарослей, увидел узкую лощину, сдавленную скалами. Будто приветствуя появление человека, в этот момент солнце залило ее ярким светом. Горы как бы раздвинулись. Дальше лощина врезалась в толщу хребта глубоким шрамом, и над ней с двух сторон нависали снега. Улукиткан понял, что там, за белыми взмахами вершин, лежала запретная земля.

«Тут проход!» — обрадовался он и, не задерживаясь, повернул назад.

Дубков от радости не знал, куда его усадить, чем потчевать. Еще бы! Весь день ждал, чего только не передумал.

— Куда ты пропал? — наконец спросил он, облегченно вздохнув.

— Хотел скоро вернуться, не стал тебя будить, а оно, вишь, как получилось. Проход нашел. Однако, место худое, с оленями не пройти.

— Пройдем, не сомневайся! — убежденно воскликнул геолог. — В опасных местах на себе груз подниму.

Дубков почувствовал в себе невероятный прилив сил. Горы готов разворочать, лишь бы дойти до желанной цели. Ведь все, что оставалось позади, было только подступом к ней.

— Скажи, Улукиткан, как ты нашел сюда путь, если никогда здесь не был? — спросил Дубков.

— И другой на моем месте тебя сюда привел бы.

На земле всегда остается след человека и времени, зверей и пожаров, птиц и ветров. Надо только научиться разбираться в них. И ты никогда не заблудишься.

— Но ведь мы шли сюда без тропы, не видели ни людских следов, ни затесов, никаких ориентиров?

— Ты хочешь знать то, чего не знаю сам я. Эвенку надо один раз посмотреть, куда идти, потом ведет сердце, оно чует путь, а как это сказать тебе — не знаю.

На следующее утро встали, как обычно, рано. Позавтракали, свернули табор и двинулись в глубь ущелья. На караван наплывал пугающий пейзаж из ветхих скал и каменных завалов. Все чаще слышался крик проводника, подбадривающий оленей.

На крутых подъемах животные теряли силы. Им давали передохнуть и гнали дальше. На неприступных местах их развьючивали, груз вытаскивали вручную наверх, а затем поднимали поодиночке оленей. Шли очень медленно. Подъем становился все более крутым.

Весь день прошел в схватках с моренами и крутизною. И только к вечеру, когда жиденький сумрак смягчил грозные очертания скал и глубину ущелий, караван вошел в цирк.

Дубков, как вчера Улукиткан, был удивлен цветистой зеленью, что покрывала дно цирка, свисала в виде гирлянд с боковых скал, выстилала откосы, спадающие с невидимой сейчас высоты. Геолог был поражен контрастом между тем, что осталось позади, и тем, что он увидел. Не мог надышаться воздухом, так он был ароматен и свеж.

Заночевали на травянистом берегу озерка. Ночь была тихая, влажная, с костром из стланикового сушняка. Чай пили с горячей пшеничной лепешкой, не поленились выпечь, чтоб отпраздновать достижение этого дивного уголка, близость к цели. Всю ночь не умолкала музыка живой природы, в которую причудливо вплетался звон бубенцов пасущихся оленей.

Утром караван быстро миновал стланик, хитро маски-

рующий вход в расселину со стороны бокового отрога. Сначала путники еле протискивались сквозь узкую брешь, заваленную обломками скал. Но потом стены ущелья раздвинулись, дорога стала просторнее. Вперед повела капризная, протоптанная дикими животными тропа. Она то озорно прыгала по уступам, то терялась среди серых курумов. Извилистое ущелье было уставлено причудливыми, напоминающими статуи, выточенные ветрами и водой, осколками скал. Каких только тут не было фигур! Одни напоминали людей со вскинутыми в небо скрюченными руками, изувеченных страшными пытками, то упавших на колени и просящих пощады, то будто обезглавленных при попытке пробиться за перевал и выставленных напоказ в устрашение тем, кто осмелится повторить дерзкий их замысел.

Дальше путь лежал по гигантским плитам, хорошо отполированным и сложенным ступеньками, которые вели вверх к хорошо видневшимся слева потрескавшимся останцам, напоминающим древние развалины.

«Не степы ли это разрушенного каменного бугарука * горных духов, и не по этим ли ступепям поднимались шаманы, чтобы научиться мудрости повелевать людьми, предсказывать судьбы?» — рассуждал про себя Улукиткан, рассматривая останцы.

Все здесь было настолько необычно и таинственно, что появись внезапно из-за скалы злые духи, облачепные в шкуры неведомых зверей, с раскаленными копьями в руках, — так их представляли эвенки, — Улукиткан не удивился бы.

Наконец путники достигли перевала. Тропа выровнялась, побежала вперед по плато, миновала последний ложок и привела караван к крутому излому. Перед Дубковым и Улукитканом открылась обширная горная страна, чудесное царство первобытной природы.

---

* Бугарук — церковь.

— Эко долго шли, да куда попали! — взволнованно произнес Улукиткан.

Они наскоро поправили вьюки на оленях, и караван пошел к спуску. Солнце, уняв свой жар, клонилось к горизонту. Два беркута мирно парили в небесной синеве. Распластав могучие крылья, они иногда совершенно неподвижно зависали в воздухе, с огромной высоты выискивая на земле добычу.

Неподалеку от излома, за которым должна была открыться увиденная ими сверху долина, идущий впереди Улукиткан подал знак остановиться.

— Что случилось? — крикнул Дубков и поспешил к проводнику.

На голой россыпушке лежало пять вытянувшихся в цепочку, позеленевших от времени оленьих скелетов. С одного взгляда можно было догадаться, что смерть поразила сразу всех животных, связанных поводными ремнями. А впереди них — два человеческих черепа. Вокруг валялись металлические предметы: пряжки от сгнивших ременных подпруг, ботала, костяные ободки от вьючных седел.

Улукиткан, конечно, усмотрел в этом грозное предупреждение со стороны горных духов. Хорошее настроение у проводника сразу сменилось знакомым чувством суеверного страха, Улукиткан готов был поверить, что духи в самом деле сторожат вход в долину и могут воспрепятствовать им так же, как безвестным их предшественникам.

Сделав несколько робких шагов, проводник присел на корточки и внимательно осмотрел черепа. Они лежали рядом, похожие, точно близнецы, друг на друга, отшлифованные водой и ветрами. На них не было видно какихлибо следов разыгравшихся здесь событий.

Но не все укрылось от Улукиткана.

— Это эвенки, — пояснил он шепотом, указывая на черепа. — Они были очень бедные.

— Почему ты так думаешь? — спросил Дубков.

— Разве сам не догадался? С ними шло только пять оленей. Пять на двоих — совсем мало, много ли на них увезешь. Значит, шибко бедные люди.

— Почему же они погибли, причем оба сразу и все олени?

— Злой дух послал на них большую грозу, враз всех убил! — уверенно ответил эвенк.

— Зачем, Улукиткан, все валить на духов? А насчет грозы ты, может, и прав.

— Нет, тут иначе не бывает, — возразил эвенк. — Около человека постоянно спорят между собой добрые и злые духи. Ты думаешь, напрасно кричал ворон?

Улукиткан готов был повернуть назад, бежать из этих запретных мест, но разве мог он так поступить, дав слово лючи сопровождать его до конца?!

Эвенк нерешительно поднял с земли конец повода и робко шагнул было к спуску. И тут позади, где-то далеко пророкотал гром. А вслед ему донесся отчаянный крик беркутов, молниями падающих с неба. Из-за гряды ближних скал выползала черная брюхатая туча. Она прямо и быстро надвигалась на караван. Погасло солнце. Все вокруг стихло. Как будто враз вспотели камни, к которым невольно прижались путники.

Казалось, надвигающимся чудовищем управляет какая-то могущественная и неотразимая сила. В холодном дыхании тучи чувствовалась неземная ярость и злоба.

— Видишь, духи гневаются! — крикнул Улукиткан, весь во власти суеверного страха.

Еще несколько секунд... И мгновенный нестерпимо голубой мертвенный свет. Ужасающий удар грома. Тяжкий вздох земли. И снова зловещая тишина. В эту минуту и Дубков готов был поверить в существование какой-то сверхъестественной силы.

Туча, как будто подобрав крылья, еще больше напряглась и вдруг разорвалась вся, от края и до края. В ее

глубоком темном чреве кишели молнии. Земля вокруг содрогалась от беспорядочной пальбы. Слева, справа от путников рвались грозовые снаряды. Весь мир потонул в хаосе света, тьмы и грохота...

Потом, как бы растратив свой гнев, туча обмякла, округлые ее бока провисли, она с каждым мгновением теряла свой грозный облик. Пошел дождь. Он с успокоительным шорохом падал на россыпь, на спины оленей, на одежду путников. Прояснились вершины. Налетевший откуда-то ветер угонял в горы жалкие остатки тучи.

Улукиткан, с лица которого еще не сошел страх, ошеломленно смотрел вслед удаляющейся туче, молча прислушивался к отдаленному рокоту грома.

— Вот это гроза! — заговорил первым Дубков, стаскивая с себя мокрую телогрейку и выкручивая ее.

— Этим бы кончилось — хорошо, — ответил эвенк, видно, все еще не веря, что остался жив. Он тоже разделся, отжал воду из одежды. Затем, прикрикнув на оленей, решительно двинулся к спуску.

Долина начиналась узкой лощиной. Дальше она широко раздвигалась, краями уходила в далекие туманы. С двух сторон над нею возвышались скалистые вершины — не дремлющие стражи кладов земных. С их склонов сбегали бесчисленные ручейки. Покидая высоту, они весело перекликались, унося в низины хрустальный перебор да чистоту своих струй. И так велика была притягательная сила этой сказочно чудесной долины, что теперь уже ничто не заставило бы путников повернуть назад, отступить.

Спуск становился все круче. Вьюки сползали на шеи оленей. Камни срывались из-под ног. Гул тревожил первозданную тишину. Караван то пробирался среди обломков, то продирался сквозь густые заросли стланика, и тогда проводнику приходилось прорубать проход своей пальмой.

Ложе долины было залито розовым цветом багульника,

точно вешним теплым дыханием разбужены обычно уже спящие в это время почки кустарников. Такого позднего цветения багульника еще не видели глаза Улукиткана. Да и под ногами такая свежая, сегодняшняя зелень, что казалось, вокруг не осень, а весна буйствует. И теперь Улукиткан был уверен, что это долина населена и оберегается не злыми, а добрыми духами.

Караван остановился под темными колоннами елей, на бережку шумливого ручейка, день и ночь без отдыха подтачивающего скалу и уносящего в далекие низины плоды своей работы — песок и гальку. В воздухе слышался далекий гул перекатов других потоков. Стрекозы, кузнечики, бабочки на все лады прославляли отходящий день и свой чудесный мир. Может быть, впервые за свой бесконечный век скалы и тайга, эта заповедная долина услышали сейчас человеческие голоса.

Дубкову не терпелось приняться за разведку, и он, вытащив из поклажи свой геологический молоток, сказал:

— Ты, Улукиткан, готовь ночлег, вари ужин, а я схожу по ключику, взгляну на выходы пластов... Без этого мне ни за что не уснуть.

Он взял ружье, пустую котомку и поспешно ушел вверх по ключу. Ушел и как растаял...

Улукиткан сложил горкой груз, накрыл палаткой. Приготовил постели. Натаскал большой ворох дров. На душе у него такая благодать, что хоть песни пой, — не ожидал он, что так удачно закончится этот необычный путь. «Придет Дубков, у него в потке есть спирт, будем хорошо отдыхать», — мечтал он, навешивая котел с варевом на огонь.

Долго-долго потухала заря за зубчатым горизонтом. Над долиной неуловимо сгущался сумрак. Стихал ее живой мир. Но из щелей скал, из зеленых чащ доносилась мягкая, еле слышимая, как бы беззвучная и, однако, отчетливо ощутимая в глубокой тишине, никогда ранее не

слыханная эвенком музыка, рождающая в его голове удивительно светлые мысли. И Улукиткан сейчас чувствовал себя как бы в ином, впервые ему открывшемся мире — без вражды, без жертв, без насилия, в мире, одновременно и живом и сказочном. Улукиткан устало присел у костра.

Дубков не приходил.

Наступила ночь. Уже не видно стало ни скал, ни глубины долины, ни розового багульника. Все поглотила темень. И тревога закралась в душу эвенка. Малейший звук настораживал его. С нетерпением ждал он шороха гальки под торопливыми шагами геолога.

Он напился чаю, а ужинать не стал. И тут, помимо воли, вспомнился ему зловещий крик ворона в начале пути, затем представились останки людей и животных на перевале. Долина с ее роскошной зеленью, с чудесной музыкой, с живописными отрогами — все это лишь западня для них. Как он не мог догадаться сразу! Как он отпустил неопытного, не знающего законов тайги человека одного, да еще в ночь!.. Злые духи затемнили мой рассудок.

А ночь шла. И никакие могущественные духи не повелевали ею, ни на минуту не могли укоротить или продлить ее. Надо бы идти на поиски геолога, но куда? Куда Дубков потемну утянул свою тропу? «Дождусь рассвета», — решил эвенк.

Улукиткан отошел от костра, всмотрелся в синий мрак ночи. Небо над стоянкой было черное, заметно отделялось от еще более черных гребней у горизонта. Эвенку чудился геолог, блуждающий по каменистым оврагам, по стланиковым крепям, без надежды когда-нибудь выпутаться из расставленных духами ловушек. Иногда сквозь гул водопада доносился крик совы, как будто зовущей на помощь...

Теперь он был убежден, что стряслась непоправимая беда.

Глаза эвенка придирчиво всматривались в каждый камешек, в каждую былинку. Он видел на выступах скал следы молотка геолога, оставленные на плитах осколки пород, кучи мелкой береговой гальки. Шел дальше и дальше в глубину ущелья. Следы Дубкова привели проводника к широкой осыпи, начинающейся где-то высоко в скалах.

Улукиткан, не раздумывая, свернул с ручья на эту осыпь. Его не покидало какое-то странное состояние тревоги и неуверенности, казалось, что кто-то тайно крадется следом за ним. Порой он физически ощущал на себе чей-то тяжелый взгляд, и тогда малейший шорох приводил эвенка в содрогание. Он тотчас поворачивался в эту сторону и, вскинув бердану, ждал. В его воображении мгновенно возникал образ горного духа со страшной пастью и когтистыми лапами, каким он его представлял по сказкам и легендам. Стоял подолгу. Но никого поблизости не обнаруживалось. Только мошка беззвучно роилась перед глазами да шумно ликовал живой мир, приветствуя восход солнца.

И чем выше поднимался эвенк, тем шире раскрывались перед ним горы. Они разворачивались перед ним безбрежным зеленовато-серым каменным морем.

На изломе он решил передохнуть. Дальше, до вершины отрога, были видны скалы, слегка затянутые стланиками, и кое-где лежали полосы снежников — остатки зимних надувов. Эвенк не мог понять, зачем Дубкову понадобилось взбираться на такую высоту, да еще на ночь глядя? Ведь скальных развалин много и внизу.

На гребне эвенк задержался. Внимательно осмотрел склон отрога, россыпи, зеленые полосы рододендрона и, ничего не обнаружив, спустился в котловину. Там Улукиткан увидел свежий помет рогачей, их лежки на зеленой траве, примятый копытами ягель. Видимо, стадо после утренней кормежки отдыхало на зеленой лужайке и кем-то было внезапно вспугнуто.

— Ку-у-у... — крикнул изо всех сил Улукиткан, полагая, что Дубков где-то близко.

В ответ донесся еле слышный, какой-то загадочный звук.

Тревога за Дубкова с еще большей силой захватила эвенка. Оглядел снежник. Отчетливо виднелись вмятины от медвежьих лап, красные пятна крови на лежке.

— Э-э-эй... Дубко-о-ов!.. — крикнул Улукиткан.

Никто ему не ответил. Внизу в зарослях галдела кедровка, да под узкой россыпушкой в камнях плескался говорливый ручеек.

Улукиткан нашел на снежнике входной след медведя и, не выпуская его из поля зрения, пошел по нему в обратном направлении. Дошел до гребня. Постоял, передохнул. Тени редких облаков, точно парусные корабли, бесшумно скользили по склону. Беззвучно качались стланики.

От места схватки с человеком раненый зверь уходил осторожно, ощупью, ища просветы в зарослях, натыкаясь на выступы, на валежник и оставляя по пути на камнях и листьях брызги крови. След привел Улукиткана к россыпушке. За ней открывался весь склон отрога, изрезанный промоинами и обставленный полуразвалившимися скалами. «Тут где-то Дубков, дальше уйти у него вчера не хватило бы времени», — размышлял Улукиткан.

У края россыпушки эвенк нашел отпечатки тяжелых сапог геолога. Пошел по этому следу. Увидел взбитый ягель, развороченные камни, кровь, лоскуты от одежды, притоптанные медвежьими лапами. Из-за кустарника ударил в лицо резкий запах бараньей требухи. Улукиткан свернул на него и в нескольких шагах от себя увидел задранного рогача. Все сразу прояснилось: баран отдыхал на каменном прилавке, разнеженный вечерним теплым солнцем, медведь близко подобрался к нему, один-два прыжка, и бездыханная жертва лежала у его ног. Голодный зверь сразу начал свой пир.

У своей добычи он не терпит посторонних и бывает нещадно свирепым. Именно в этот момент и появился поблизости Дубков. Заметив человека, зверь мгновенно отскочил от барана и вздыбил. А Дубков не отступил, не побежал от зверя, остался стоять, упираясь большущими сапогами в россыпь и успев приложить к плечу ружье. Все это заняло какие-то секунды. Медведь ринулся на геолога. Раздался выстрел. Но зверь успел схватить человека, и они сцепились воедино, покатились по камням вниз.

Улукиткан, скинув с плеча ружье, разрядил его в воздух. Запели горы, камни, расползся гулкий звук по всем закоулкам отрога. Далеко в горы ушло эхо.

Он припал ухом к россыпи. И услышал человеческий стон.

Кинулся в ту сторону. Дубков лежал сразу за кустарником, ничком, распластавшись на плитняке, под горячим солнцем. Он показался эвенку необыкновенно большим и тяжелым. Правая нога Дубкова была несколько отброшена в сторону, в каком-то неестественном положении по отношению к туловищу. Это сразу заметил эвенк и решил, что нога переломлена.

Он сбросил с плеч бердану, котомку, дошку. Положил свою руку на широкую спину геолога, стал мягко похлопывать по ней, будто будя геолога ото сна. Дубков не пошевелился. Дышал тяжело, редко, с тихим стоном.

С осторожностью взял Улукиткан обеими руками переломленную ногу геолога, придал ей нормальное положение, затем перевернул лицом кверху огромное неподвижное тело.

Теперь Дубков лежал на спине, вытянувшись во весь рост, с безвольно откинутой набок головою. Плащ и рубашка на нем разорваны в клочья. По груди шли глубокие следы когтей медведя, залитые кровью. Эвенк наскреб рукою пригоршню мягкой земли, тщательно засыпал ею раны. Присел рядом. Повернул лицо геолога к себе.

Оно было спокойно, но без признаков жизни. Веки плотно сомкнуты, губы белые, высохшие, лицо было похоже на гипсовую маску.

Улукиткан достал из котомки чайник и, спотыкаясь о камни, побежал в ложок. Воду в таких местах не сразу найдешь. И не всюду до нее доберешься, как и в этот раз. Она журчала где-то недоступно глубоко, в камнях. Эвенку пришлось бежать выше, к кромке террасы, откуда свисали языки белых, не успевших за лето растаять надувов.

Вернувшись, Улукиткан разжег костер, повесил чайник. Дубков не приходил в себя. Эвенк склонился над поврежденной ногой геолога. Распорол ножом штанину и легким прикосновением пальцев ощупал багрово-синюю опухоль, опоясывающую ногу в месте перелома — в области бедра. Печально посмотрел на геолога: «Куда я пойду теперь с тобою, лючи?»

Он налил в кружку горячей воды, настоянной на листьях брусничника. Слегка остудил. Лил ее на губы Дубкова тонкой струйкой, прислушиваясь, как, проникая в рот, вода тихо хлюпала в горле.

Улукиткан скорее почувствовал, нежели увидел, как постепенно оживало измученное тело спутника. Лицо его обмякло, покрылось испариной. И наконец, чуточку приоткрылись глаза да так и замерли, уставившись на эвенка.

Они долго смотрели в упор друг на друга. Никогда за весь долгий путь эти два человека не были такими близкими, как сейчас. Эвенк радостно улыбнулся.

Дубков, не отрывая от него взгляда, тяжело разжал рот.

— Ты пришел... Ты настоящий большевик, — чуть слышно выговорил он.

Ничего не ответив, Улукиткан думал о том, что надо найти сухую, прямослойную сушину, чтобы изготовить лубок и наложить его на перелом ноги, о том, как спустить

больного лючи отсюда на табор, и вообще, что делать с ним дальше в этих безлюдных горах?..

С острой болью вспомнились дети, жена, брошенные им где-то далеко, на пустом берегу Зеи.

...Крик ночной птицы оборвал воспоминания Улукиткана. Старик поднялся. И тотчас же исчезли видения далекого прошлого. Он спокойно вздохнул. За палаткой ритмично качалась под ветром тайга. Валил снег.

Старик выпил остывший чай. Прилег. Но уснуть не мог. В памяти уже само по себе безудержно плелось продолжение, горькая концовка давних, но не забываемых событий. Вспомнилось, как долго и трудно срасталась нога Дубкова. Много пережил эвенк, выхаживая геолога. Чего только не передумал он за это время. Беспокойство об оставленной, ждущей его возвращения семье не оставляло Улукиткана ни на минуту. День и ночь ему слышались голоса детей, их жалобный зов вернуться в чум. Тяжелые сны, щемящее до боли предчувствие беды, худые приметы совсем измучили эвенка.

Глубокой зимой, по лютому холоду вывез Улукиткан своего спутника из долины кладов. Дубков лежал на вторых нартах хорошо укатанный и прочно привязанный к саням. Улукиткан правил первой упряжкой и очень торопился, не щадил оленей.

Ему уже мерещилось, как из чума, заслышав бег оленей, выскочат навстречу жена, дети, как они обрадуются его возвращению и как долго он у костра будет рассказывать им о своих приключениях.

Олени резво бежали по льду мимо заснеженных утесов. В полдень показался яр. За ним знакомый поворот и долгожданный ельник на низком берегу реки...

Улукиткан внезапно оборвал бег оленей, спрыгнул на лед. Какую-то долю минуты стоял пораженный, не веря глазам. Затем снова вскочил на нарту и неистово погнал

животных. Кричал на них, пиная изо всех сил аргалом, торопил вперед к чуму, стоявшему одиноко на фоне заснеженного леса. Над ним не вился дымок костра, берег пустовал. Не слышно было лая собак. Видимо, никто тут не ждал его.

Взбудораженные олени с ходу вынесли нарты на берег. Остановились. Кругом никем не потревоженная белизна недавно выпавшего снега. Улукиткан отстегнул вход в чум. Пахнуло брошенным жильем. Ни жены, ни детей, ни души. Но спальные мешки, потки, седла, уздечки и весь кочевой скарб лежали на своих обычных местах, будто брошенные за ненадобностью. Улукиткан не верил глазам, никак не мог понять, зачем и куда могла мать увести детей из чума в такую стужу, ничего не взяв с собою, уйти пешком, без оленей?.. Все это казалось эвенку совершенно невероятным сном.

Он вошел внутрь берестяного чума. Долго стоял, пытаясь найти ответ на мучительную загадку. Он заметил валявшиеся около очага недожеванные куски оленьей кожи, остатки от олоч. Не оказалось и упряжных ремней, потников — все было съедено. Ни единого полена дров, ни одного сучочка — перед тем как покинуть жилье, обитатели его все сожгли до уголька, а собрать и принести еще дров ни у кого уже, видно, не осталось сил. Белый пепел огнища был холодным.

Улукиткан вышел из чума. На краю заснеженной площадки были только следы колонков. Но тут Улукиткан увидел свежий пень и удивился: дерево срублено слишком низко и явно неумелыми руками. «Видать, жена болела, сынишка рубил», — заключил эвенк. Потом он заметил связку ерниковых прутьев, подвешенных на сучке под елью рогульками вниз. На языке кочевников это означало, что на таборе потерялись олени. Улукиткан пересчитал прутья. Их было тринадцать — все стадо, оставленное им на стоянке. Затем на соседнем дереве он увидел затес с горизонтально прикрепленной к нему ерни-

ковой веточкой, обращенной мелкими прутиками на юг. «Ушли вниз по реке и на стоянку не вернутся», — расшифровал Улукиткан этот немудрый знак.

«Но когда ушли?..» — продолжал он придирчиво осматривать стойбище.

Ничто не могло укрыться от его пытливых глаз. Всему эвенк мог найти объяснение. Вот он увидел торчащую из-под снега свежую щепку, на которую другой бы не обратил внимания, подошел к ней, достал нож, концом его измерив слой снега на щепке, решил, что щепу запорошил вчерашний небольшой снегопад, а снег, что выпал днем раньше, лежал под щепкой: «Значит, семья покинула чум только вчера».

Теперь он отчетливо представил себе, что тут случилось: обремененная непосильными заботами о детях, тяжело заболела Ильдяна, и все хлопоты на таборе легли на хрупкие плечи старшего сынишки. Он должен был поддерживать огонь в очаге, разваривать сыромятные ремни для пищи, ухаживать за больной и двумя малолетними сестренками. А ему самому было всего восемь лет. Оставшиеся без присмотра олени разбрелись по тайге, вероятно, присоединились к стаду диких сокжоев и навсегда ушли от человека, от вьючных седел, от лямок, от понуканий. Семья, потеряв всякую надежду дождаться отца, решила бежать от голода, с проклятого места, над которым властвуют злые духи. Вместе с больной матерью дети двинулись вниз по заледеневшей реке, навстречу неизвестности.

«Догнать!» — Улукиткан бросился к первой нарте, ничего не сказав Дубкову, гикнул на свою упряжку. Олени соскочили на лед и, покорные аргалу, изо всех сил понеслись на юг. Скорее, скорее! Замелькали береговые скалы, ельники, мрачные утесы. Река, врезаясь в толщу земли, металась по залесенной долине.

Там, где на льду лежал снег, не сдутый ночным ветром, он увидел следы женщины и двух детей, третьего —

грудного ребенка — мать несла на руках. Улукиткан на бешеном скаку оленей не упускал следы из виду. Но вот на снегу остались лишь два следа и след матери стал глубже — наверное, она взяла на руки и трехлетнюю дочку.

Улукиткан торопил оленей. Напряженно всматривался в синеющий по берегам лес, искал дымок костра. «Куда она, безумная, идет?..» — чуть не кричал он и гнал, гнал дальше обессилевших животных.

След двух уставших путников свернул на берег. Улукиткан повернул туда же упряжку. И скоро увидел брошенную ночевку. Старая ель, сама пережившая немало бурь и потрясений, участливо приютила на ночь под своей густой кроной мать с детьми, заслонила их от ветра, дала им отдохнуть на своей мягкой хвое.

Огнище прикрывал пепел, еще не сдутый ветром и теплый от тлеющих под ним угольков. Возле костра лежали обгрызенные и жеванные куски сыромятных ремней. От старой ели начинался утренний след тяжелых, медлительных шагов, он шел все туда же, вниз по реке, на юг. Мать с невероятным упорством тащила детей, пытаясь ценою своей жизни спасти их. Но, уходя с ночевки, она оставила у огнища снежный холмик, прикрытый еловым лапником, с воткнутым рядом столбиком, обтесанным с четырех сторон. Предчувствие не обмануло Улукиткана. Он осторожно сбросил лапник, разгреб снег, поднял двумя руками уже закоченевший трупик младшей дочурки, завернутый в ветхую хлопчатобумажную юбку матери.

С мертвой дочуркой на руках подошел Улукиткан к Дубкову, лежащему на второй нарте.

— Ты не верил, что духи сильнее людей. Вот видишь, как они наказывают непослушных...

Дубков ничего не ответил. Виноватым он чувствовал себя, готов был принять на себя любое возмездие, но понимал, что бессилен чем-либо помочь эвенку-другу.

Но Улукиткан никого не винил и воспринимал все

так, как и должно быть по его верованиям и обычаям. С тех далеких времен, когда эвенки были оттеснены пришельцами от своих исконных земель в глубь материка, тяжелая, беспросветная жизнь научила их терпению и стойкости, приучила ничему не удивляться.

Отец положил на нарту трупик дочурки, привязал его ремнем и вытащил из клади свою бердану. Два выстрела потрясли неподвижную тишину долины. Далеко откликнулось звучное эхо в вечереющей тайге. Испуганные олени сдернули пристывшие к снегу нарты и, подстегнутые окриком каюра, понеслись дальше.

Впряженные в нарты с Дубковым олени устали сильнее и не поспевали за передней упряжкой. Улукиткан, выхватив нож, на ходу пересек поводной ремень, связывавший упряжки, крикнул геологу, чтоб он не торопился, ехал по его следу, а сам помчался дальше. На бегу сбросил со своих нарт весь груз. Никогда ему так дорого не было время.

Под ногами оленей стлалась заледеневшая гладь реки, мимо проносились уже окутанные вечерними сумерками каменные уступы, заиндевевшие мысы, купы береговых лиственниц. Еще поворот, еще утес... и эвенк увидел на речной глади лиловое пятно, освещенное потухающим закатом. Он придержал вконец измученных оленей, соскочил с нарты. Крикнул изо всех сил. Спотыкаясь, неровными шагами кинулся к будто примерзшим ко льду силуэтам.

Жена стояла как каменная, опираясь голыми иссохшими кистями рук на посох, ветерок шевелил поседевшие волосы ее непокрытой головы. Голод обескровил ее губы, сморщил кожу на лице, из темных глазниц смотрели на приближавшегося человека зеленые глаза, уже ни на что не реагирующие. Ее тело, волосы, взгляд, вся фигура так состарились, изменились, что Улукиткан не только не узнал жену, но не мог поверить, что это именно она.

У нее в заплечном мешке, сшитом из оленьей шкуры,

скорчилась живым невесомым комочком трехлетняя дочь, а возле ее ног лежал на льду обессилевший сын.

Женщина, завидев Улукиткана, протерла ребром ладони невидящие глаза, но не двинулась с места, вероятно, убежденная, что это не свои.

Но вдруг всплеснула руками, как крыльями, кинулась навстречу. Дрожали судорожно ее худые плечи. Улукиткан никогда не видел ее плачущей и сейчас не знал, что делать. Прижимая ее к себе, он хотел что-то сказать, утешить и не находил слов.

А она оторвалась от него и кинулась к распростертому на льду сыну. Лицо у мальчика было почти такое же морщинистое, постаревшее, как у матери, кости обтянуты прокопченной кожей, а вместо губ две тонкие, бесцветные полоски, не прикрывающие зубов. Потускневшие глаза смотрели тупо, безразлично.

Улукиткан, присев на корточки, взял сына на руки и стал поить его собственной горячей слюной. Возле них опустилась на лед и мать. Так они долго сидели на льду с опущенными головами, будто совершая клятвенный обет — никогда больше не разлучаться...



ИСПОВЕДЬ У ПОСЛЕДНЕГО КОСТРА

На Арге за стенками палатки жуткой теменью набухала ночь. Бесновалась тайга, охваченная непогодой. По льду реки катились, серебрясь, седые космы поземки. В старом, простреленном дырами дупле выли злые духи. И далеко, в заречной стороне, отчаянно ревел зверь, окруженный волчьей стаей. Улукиткану все это было знакомо с детства, постоянно жило с ним — не пугало. Какое-то время он еще находился под впечатлением воспоминаний о Дубкове, о том давно ушедшем, горьком для кочевников времени.

Улукиткан вытащил из котла кусок мяса, попробовал, пожевал — сыровато. Выбрался наружу, окликнул Пакета, бросил ему. У того на зубах не задержалось. Ногами нагреб снег на борты палатки, притоптал его, чтобы снизу не поддувало, проверил, ладно ли заправлена выходная труба. Забрался внутрь. Плотно застегнул за собой вход.

Укрылся, как за крепостной стеной. Потом по-хозяйски осмотрел внутренность жилья — все лежит на своем месте. Отодвинул от печки в угол потки, так свободнее будет Басилю расположиться. «Он вот-вот должен подъехать, тогда и поужинаем вместе».

Чтобы скоротать время, Улукиткан занялся ружьем. Давно не заглядывал в ствол, не забился ли он пороховой гарью. Вытащил из потки кабарожью берцовую кость, расколол ее обухом топора, достал мозг — для смазки ружейного затвора. Положив к себе на колени бердану, задумчиво разглядывал вырезанные на ее ложе разные знаки — летопись охотничьих удач. Для постороннего человека это просто крестики, скобки, точки, черточки, а для него это добытые медведи, сохатые, рыси, соболи, росомахи — вся жизнь! Сколько событий, отваги, риска хранят эти ничем не приметные знаки! Но не над этим сейчас задумался старый эвенк. Бердану прислал ему в подарок в знак благодарности Дубков из города и еще два тяжелых ящика патронов. Цены тогда этому подарку не было.

Он смотрел на старенькую бердану, такую же древнюю, как и он сам, а мысленно был далеко под Становым. Там, много лет тому назад, разыскали его товарищи Дубкова. Передали ему вместе с поклоном это ружье, просили показать им клады земли. Не мог отказать, хотя попрежнему побаивался гнева горных духов. Повел. Но на этот раз забрал с собой семью.

Долго геологи стучали молотками, рылись в речной гальке. Таскали на табор разные камни. А еще через два года на том месте, где когда-то стояла его и Дубкова палатка, расположилось большое стойбище геологов. «Теперь там самолеты садятся», — рассказывали люди.

Не стихая гудела лиственничная тайга под порывами холодного ветра. Прислушиваясь к ней, старик гадал о завтрашнем дне: утром пошлет Басиля за Аргу расста-

вить капканы на соболя, посмотреть, как густо наследили белки в ельнике, а сам с Пакетом подастся к увалам, куда ушел «казак». Все думки его там, в густых перелесках. Авось по-настоящему подфартит. И он разыщет упущенную добычу.

Старик наложил полную печь сухих дров. Еще раз вслушался в рев ветра. Неодобрительно покачал головой, запорошенной сединой, при этом подумал: как хороша жизнь, когда есть тепло, жирное мясо и завтрашний день.

Но усталость будто караулила старика, незаметно подкрадывалась к нему и овладевала всем его существом, отнимала руки, ноги, гасила мысли. Не по возрасту трудным для него оказался этот день, к тому же полный тяжелых раздумий. И Улукиткан уснул, может быть, впервые за свой век не чуткой дремой бывалого таежника, а тяжелым сном смертельно усталого старого человека.

Впрочем, и во сне он оставался охотником, видел под ногами путаные соболиные следы. Мерещились ему остроухие белки. То и дело попадался свежий звериный помет... Идет Улукиткан по заснеженному, царственному лесу, не нарадуется на его красу, читает чудесную лесную книгу...

Сухие дрова в печурке быстро разгорались. Старик натолкал их в печь лишку, видать, забыл, что лиственница горит гораздо жарче других древесных пород. В темноте над палаткой трепетали вылетавшие из трубы искры и языки пламени. Казалось, это моргала ночь под порывами ветра.

Печь накалилась докрасна, и в палатке стало невыносимо жарко. Надо бы бросить на огонь снежку, малость притушить пламя, но старик крепко спал. Огонь, предоставленный сам себе, вызверился, разбушевался, ему стало тесно в печи, от жара готовой взорваться.

А ветер вдруг переменил направление и... ударил по

палатке с тыла. Вырвавшееся из трубы пламя лизнуло багровым языком кровлю полотняного жилья и словно прилипло к ней. Огонь быстро схватил всю палатку. Взвихрилось пламя. Отступил мрак. Ветер, усиливаясь, налетал беспрерывным шквалом то с одной, то с другой стороны, раздувая пожар. Огонь проник внутрь палатки, жадно пожирал все, что в ней было — постели, потки, одежду, дрова.

А Улукиткану снился далекий Джугджур — горбатые хребты, звериные стежки под ногами, глубокие цирки с вечными снежниками, где в полуденный зной отдыхают стада диких животных.

Не просыпаясь, Улукиткан почувствовал: воздух в горах так нагрелся, что трудно стало дышать. Горные вершины, на которые поднимался эвенк во сне, вдруг на его глазах превратились в огромное стадо диких баранов. Бушующее пламя, внезапно поднявшееся из пропасти, охватило животных. А дальше загорелись скалы, лавина огня растекалась по россыпям, вспыхнуло само небо. Улукиткан закричал нечеловеческим голосом и... пробудился.

Ему казалось, что огонь охватил все: лес, реку, снега, весь мир. Едкий черный дым слепил глаза, не давал дышать. На нем уже горели телогрейка и ватные брюки. Страх, никогда доселе не испытанный, овладел эвенком. Ничего не соображая, подчинясь только инстинкту, он рванулся через огонь и, объятый пламенем, добежал до леса, свалился и начал кататься по снегу, вскакивал и опять падал, стараясь затушить огонь на себе. Но ветер снова и снова раздувал на нем горящую вату. Улукиткан, обжигая руки, отрывал от себя огненные шматки, бросал их на снег, старался затоптать. И дико, не своим голосом кричал, молил о помощи, но крик его безответно замирал в ночном мраке и завывании ветра. Обессилев, он снова упал и, нагребая на себя снег, продолжал лежа бороться с огнем, пока не потерял сознание...

Старик подумал, что все совершается с ним во сне. Но когда сознание его прояснилось под действием боли, жара, а затем холода, все ему представилось в реальном свете. Он с трудом приподнялся, сел на снегу. Голова его гудела как от угара, мысли путались. Надо было немедля что-то делать, а что, он совсем не знал. Ноги и руки вышли из повиновения. Ужасная боль от ожогов охватила все тело. «Неужели конец?!» Но тотчас же отогнал от себя эту страшную мысль.

Ветер ослабел. Улукиткан глянул на табор. Там, где стояла палатка, курился дымок над сгоревшими пожитками. В печке дотлевали последние угольки. А вокруг уже густела темень да скрипела лютая стужа.

Холодный ветер хлестнул по лицу. Улукиткан вздрогнул, выпрямился. В этом затухающем огоньке увидел свое спасение, свет надежды. Он поднялся, сделал шаг к печи, но споткнулся, не удержался на ногах и рухнул в снег. От обиды он заплакал. Это была короткая, очень короткая минута бессилия и безволия. Но он знал, что сейчас огонь для него сама жизнь. И он должен добраться до огня.

С трудом удерживая равновесие, Улукиткан подошел к печке, заглянул внутрь: в дальнем углу под пеплом дотлевал последний жарок. Дрожащими руками он стал разгребать снег, собирать вокруг себя угольки, щепочки, мох, уцелевшие от пожара головешки и торопливо запихивать в печь. Затем, обессиленный, присел. Так сидел он, слитый с тишиною. Устало и тяжело колотилось сердце. В глазах расплывались, качались звезды...

«Басиль! Неужто запах пожара не чуешь? Богом прошу, поторопись, Басиль!» — шептал старик.

Вспыхнувшее в печи пламя осветило старика. Он оглядел себя и ужаснулся: пузыри ожогов покрывали руки, ноги, грудь. Ни до чего нельзя было дотронуться. Снег падал и таял на черной, местами обугленной коже, принося некоторое облегчение. Потом снег повалил сплош-

ной массой. И старик начал замерзать. Дров не было. Печь плохо горела. Холод проникал внутрь, сковывал мысли, замораживал волю. Но старик, быстрым взглядом окинув стоянку, встал, сделал несколько шагов, разгреб пепелище, стал подбирать уцелевшие от спального мешка куски меха, лоскуты от одежды, от палатки, ремешки — все, что осталось от огня. Нашел байковое одеяло, накинул его на плечи. Долго обматывал тряпьем все тело.

Стало вроде теплее.

— Басиль!.. Басиль!.. Пошто не торопишься! — крикнул он в темноту.

Кругом угрюмо шумела тайга. Улукиткан, не поддаваясь отчаянию, долго убеждал себя, что сын не подведет, что он где-то близко и вот-вот заявится. Конечно, в пути может всякое случиться...

Только сейчас Улукиткан вспомнил, что поблизости находится его учаг, вечером привязанный им к дереву. В голове старика созрел план — доскакать на олене до соседней пади, где стоит бригада охотников. Конечно, было риском кидаться в ночь, в буран, но ничего другого он не мог придумать. «Надо взять с собою огонь», — мелькнуло в сознании.

Улукиткан разыскал под елью повешенные еще с вечера узду, седло. Найдя котелок, выплеснул из него воду, нагреб дополна из печки золы вместе с жаром.

Олень лежал на месте, дремотно пережевывая жвачку. Улукиткан поднял его, негнущимися руками надел узду, пристроил седло. Хотел уже ехать, но остановил его внутренний голос: «Не бросай затухающий огонь, подкорми его, может, еще вернешься сюда». Улукиткан, разгребая снег, подобрал головешки, щепки, сучья и все это побросал в печь.

Олень бежал размеренной рысью, качая в такт седока. Уравнялись мысли эвенка. «Не замерзнуть бы только,

доехать, потом все заживет, забудется». Он был уверен, что судьба и на этот раз не изменит ему.

Снег перестал. На увалы надвинулся редкий туман. Местность стала совершенно неузнаваемой. Расстояние исказилось, очертания беспрерывно менялись. В левой руке он держал дужку котелка с жаром, в правой — повод и посох.

Эвенк торопил оленя, пинал, толкал животное в бок посохом.

За первым ложком свернул на острог. «Подняться бы только наверх, а там рукой подать до чума», — размышлял старик. Но олень начал уставать, все чаще его бег переходил на шаг, и понукания уже не помогали. А тут еще ветер! Он пронизывал все тело. Ноги, завернутые в лохмотья, совсем онемели. Руки некуда было спрятать от стужи. Дорога казалась бесконечной, и тяжкие сомнения все больше захватывали Улукиткана.

«Нет, не добраться!» — с тоской думал эвенк.

Он чувствовал, что замерзает верхом на олене. Ему показался бессмысленным этот торопливый путь в никуда. Захотелось прилечь на землю и спокойно ждать конца, избавления от мук холода и боли во всем теле.

Из рук старика выпал повод. Неуправляемый олень, понурив голову, устало плелся по лесу, сам выбирая путь по прогалинам. Его уже никто не торопил...

Слева в редколесье мелькнула подозрительная тень и замерла совсем близко. Учаг остановился, насторожился и вдруг метнулся в сторону. Старик не удержался и свалился наземь. Далеко отлетел котелок, окропив искрами снег. Улукиткан мгновенно пришел в себя, вскочил и бросился к пустому котелку. Но напрасно хватал он закоченевшими пальцами из снега потухающие угольки, дул на них изо всех сил... Спасти огонь не удалось.

Улукиткан, стоя на коленях в снегу, обреченно подумал, что вот настал его последний привал на земле. Уходит он к предкам без огня, без чума, без теплой одежды,

весь обгорелый и обмороженный. До слуха его долетел лай Пакета, с вечера пропавшего в лесу, потом старик услышал человеческий окрик, и лай прекратился.

— Басиль приехал! — обрадовался эвенк и ответно крикнул.

Улукиткан с трудом распутал повод, взобрался на учага. Скорее, скорее назад, на табор! Там Басиль. Он спасет...

Олень, поняв, что они возвращаются на место ночевки, резво бежал по спуску, разметывая копытами снег.

— Угу-гу... — беспрерывно кричал Улукиткан, предупреждая сына о своем приближении, напряженно вглядывался вперед, надеясь, что вот-вот там должен блеснуть огонек костра.

До ельника оставалось метров сто. За ним сразу открылась поляна. На снежной белизне чернели остатки сгоревшего табора. Ни Басиля, ни нарт, ни его следа. Глазам своим не веря, эвенк обошел стоянку, постоял возле печки, погрозил кулаком обманувшему его ветру.

Одеяло свалилось с плеч, тащилось следом, пальцы ног лезли из лохмотьев, оставляли на снегу глубокие вмятины от шишковатых ступней. Его охватило чувство невыразимой пустоты и заброшенности. Но он знал, что побороть это чувство можно лишь работой. Надо дать дело немеющим рукам и ногам. Надо сопротивляться до последней минуты.

В печи мигало синее пламя. По небу по-прежнему ползли сумрачные тучи. Но снегопад перестал. Посветлело в долине. Старик решил, что надо немедля нарубить хвои и как-то отгородиться от проклятого ветра. Но где топор? Память отказывалась подсказать, куда он положил его с вечера. Улукиткан стал собирать лапник, которым был выстлан «пол» в палатке. Закрепил между двумя березками посох и стал прикладывать к нему ветки, одна на другую, как можно плотнее, нагребал снизу снега, притаптывал его. От этого ногам стало теплее,

ослабла боль. Затем он решил собрать и принести дров, спасительный огонь не должен погаснуть в печи.

Улукиткан поторапливал себя, но бестолково топтался на месте, не зная, что взять с собой, не представляя, где можно ночью без топора найти сушняк. Он заглянул в печь и совсем испугался: на дне ее в слабом пламени дотлевали последние угли. Охапка дров могла сейчас продлить его существование. Но за ними надо было идти в ельник, идти наугад, а он совсем обессилел.

Улукиткан поправил лохмотья на теле, глянул в сторону ельника, выбирая кратчайший путь.

Он прочертил рукой в снегу глубокую бороздку в направлении, куда решил идти и где его следовало искать, если он не вернется на табор.

Улукиткан еще с минуту постоял в раздумье. Повернулся к ельнику, прислушался, не донесет ли оттуда ветер каких-нибудь звуков. И сдвинулся с места, не уверенный, что сможет пройти десять-пятнадцать шагов, отделяющих его от ельника.

Ноги казались ему длинными ходулями. Они не сгибались, бороздили снег. Время от времени старик переставлял их руками и шел дальше, порой забывая, куда и зачем идет.

Он уже так шел однажды... В памяти на мгновение воскрес лесной пожар. Старик увидел себя со связкой оленей, неожиданно захваченным ураганным огнем. Пожар распространялся с невероятной быстротой, уничтожал по пути все живое. Гибли звери, падали обугленные на лету птицы, валились вьючные олени. На Улукиткане горела одежда, он задыхался, падал, но продолжал ползти через охваченные пламенем мхи и кустарники до ручья... И на этот раз он втайне надеялся на эту скрытую, как будто ему неподвластную силу.

Оставалось всего два-три шага до ельника. Теперь он был для старика надеждой, жизнью, всем... Протянутой вперед рукою он ухватился за первопопавшуюся ветку,

подтянулся, и темная хвойная чаща приняла эвенка под свой кров.

В лесу было тише. Деревья стояли вокруг беспросветной стеной, ни пней, ни сучьев не было видно. Напрягая зрение и на ощупь Улукиткан напрасно искал сушняк среди сыролесья. Напрасно разгребал ногами заснеженный лесной «пол» в надежде найти валежину. И хотя он знал, что не в каждом лесу без топора наберешь дров для костра, все-таки продолжал поиски. Так как у старых елей нижние ветки обычно бывают сухими, забрался под низкие хвойные кроны, на ощупь в темноте, не щадя рук, ломал звонкие сучья и бережно складывал их в кучу, которую перетаскивал от ели к ели, чтоб не потерять.

Продолжая собирать сушняк, Улукиткан все дальше и дальше уходил по ельнику. И вдруг его остановила страшная мысль: не слишком ли он задержался здесь, не погас ли в печке огонь? Кое-как связал ремнем дрова, взвалил на спину и, шатаясь, поплелся к стоянке.

Холод сквозь лохмотья обжигал тело. Улукиткану подумалось, что с тех пор, как он покинул стоянку, прошла уйма времени, и огонь в печи, наверно, давно погас. А без огня не все ли равно где замерзать... Он припал к стоявшей рядом лиственнице, обнял ее. «Только бы не упасть», — подумал он и на какое-то время потерял сознание.

Огромный живой мир тайги, мир, без которого он не мог бы жить, отступил от него, земля, по которой он столько исходил, уплывала из-под его ног.

Очнувшись, эвенк еще крепче обхватил дерево, хотя понимал, что это уже не спасет его. С болью он подумал, что не у костра, не в теплом чуме, а возле лиственницы в тайге, на морозе оборвется его жизнь, что ему уже не дождаться Басиля и не успеть сказать сыну многое, что надо бы сказать.

В полузабытьи старик уже не чувствовал течения

времени и положения, в каком находился. Очень захотелось кого-нибудь обнять, на прощание согреться чьей-то близостью, кому-то передать остаток собственного сердечного тепла. Он посмотрел на свои изуродованные огнем руки, обхватившие ствол лиственницы, и подумал, что они уже ни на что не способны — ни ласкать, ни делать добро, и ему стало жаль самого себя.

Откуда-то из глубины притихшего леса до него донесся голос Басиля. Залаял Пакет. О его существовании Улукиткан забыл. Очень этим обрадованный, Улукиткан решил идти на лай. Пакет, наверное, прибежал на табор. Там, может, в печи не погас огонь. Туда непременно приедет и Басиль...

Собака вынырнула из темноты в трех метрах от старика и замерла. Не узнала. Какое-то время собака и человек смотрели друг на друга, точно впервые встретились. Он тихонько позвал пса, обрадовавшись, что с ним теперь живое существо, а у Пакета опустилась шерсть на загривке.

Еще раз очень внимательно собака осмотрела хозяина с головы до ног, но не подошла к нему, а не спеша повернула назад, по своему следу, все время оглядываясь, как бы поджидая старика.

Улукиткан шагнул за Пакетом. Не обращая внимания на боль в обмороженных ногах, он старался не упустить собаку из виду. Вязанка свалилась со спины старика. И он с трудом поволок ее за собой по снегу. Падал, поднимался и упорно шел по собачьему следу. Старик был уверен, что собака выведет его к людям, к костру, который, может, сын уже развел и вскипятил на нем чай.

— Басиль, откликнись!.. Эко, оглох, что ли! — закричал Улукиткан, задыхаясь от волнения и слабости.

Ему никто не отвечал. На поляне ни огня, ни следа оленей, ни нарт. И Пакет остался где-то в стороне, видимо, его отпугивал запах гари, смрада, распространявшийся с пожарища.

Огня в печке не было. Отчаяние охватило эвенка. Запустив в печку руку, он энергично ворошил уже остывшую золу, хватал ее горстями и просеивал между закоченевшими пальцами... Ни одной искорки! Тогда он в яростном порыве перевернул печь, вытряс из нее все, что там было, и снова стал рыться в золе, перебирая ее с той тщательностью, с какой старатели ищут крупинки золота в песке. Горящий уголек, даже самый маленький, с бусинку, теперь стоил ему жизни. И счастье словно моргнуло, как светлячок, — в золе он увидел крохотную каплю огня. Забыв боль и холод, он припал к земле, загородил собою эту искорку от ветра, подсунул к огоньку угольки и стал с величайшей осторожностью дуть на них. Долго разгоралось драгоценное пламя. Улукиткан, не отрываясь, на ощупь стал собирать вокруг себя травинки, мох, кору, мелкие стружки, все, что могло гореть, клал на костерок и дул...

На четвереньках дополз до кромки леса, где была брошена вязанка сушняка. Нашел конец ремня и волоком потащил дрова к огню. «Если Басиль не приедет — это будет мой последний костер...»

Старик, заслоняя собою огонь от ветра, осторожно разворошил тлеющие угольки, положил на них мелких прутиков и снова легонько подул. Ожил огонь. Весело заплясало пламя. К лицу, к рукам, к голым коленкам прикоснулось тепло — тепло жизни. О, как много мог бы сказать сейчас старый эвенк людям о благодатной силе огня!

Костер разгорелся, но Улукиткан, чтобы продлить, нет, не наслаждение, а самое жизнь, мелко разламывая сучья, подкладывал их в огонь расчетливо, скупо, ведь он не сможет больше раздобыть даже веточки.

Старик все еще продолжал ждать сына, представляя себе, как он принесет из леса на сильных плечах толстые сухие лиственничные бревна, как положит крестом их концы на костер, расширит заслон, и тогда ему, старику, станет очень тепло и легко. Отойдут к сыну все заботы

› его жизни, с которыми сам он уже справиться не в си-
.ах. «Великие духи, — шептал Улукиткан, — пошлите
сил дождаться сына!»

Огня не хватало. Ветерок, набегающий с реки, уносил и без того еле ощутимое тепло.

Улукиткан долго маялся с ногами, растирал их снегом, подсовывал к огню, снова растирал, но, ничего не добившись, завернул в тряпки. Все более явственно он чувствовал неотвратимую близость конца. А вместе с тем из головы не шли мысли о его незаконченных земных делах и заботах. Их было много. Они состояли из мелочей, но лежали на совести старика, как большие долги. Он считал, что перед многими людьми остался в долгу: кому по-улил лыжи, кому бересту для летнего чума, вдовам обе-цал олочи перечинить, заготовить дров; подросткам — на-чить делать туески. Да разве мог он все вспомнить!.. Его кизнь на стойбище от зари до зари проходила в хлопо-ах, жаль, на всех у него не хватало ни сердца, ни рук, і времени. «Надо бы все это поделать и тогда уж ухо-ть к предкам», — горестно, но спокойно думал он.

Какой-то непонятный звук заставил Улукиткана огля-ться. Из сумрачного леса приближался к нему старик íбан. Он узнал его с первого взгляда. Обрадовался, ни-к не ожидал. А Уйбан подошел к костру, сбросил плеч вязанку сушняка, положил на огонь. Долго уса-ивался. Смотрел на Улукиткана в упор слезящимися іазами.

— Разве забыл наказ предков — не сдаваться? — слышал Улукиткан голос старого друга. — Тайга лятву дала беречь богатырей, заботиться о них, питать ирной пищей, окружать соболиными следами, удачами ,а небесной синевой с могучими орлами, чтобы от них, от рлов, они перенимали смелость и зоркость. Не ты ли был этим богатырем, не тебя ли вскормила своими щедротами тайга? Так борись, и, умирая, борись!..

Голос костоправа звучал призывно и решительно.

И Улукиткану показались позорными его мысли о кончине. Он протянул руки через костерок, чтоб обнять старого друга, но там никого не оказалось.

Улукиткан задумался над его словами. Нет, смерть не пугала, она много раз приходила за упрямым эвенком. «Умереть неожиданно — значит не успеть вовремя ускользнуть от опасности», — давно убедил себя Улукиткан. Не раз в жизни ему удавалось ускользнуть, увернуться от смертельной опасности...

Но теперь другое. Вот догорит костер... и тут на снежном берегу Арги перестанет биться сердце, застынет кровь старого кочевника.

Из ночного мрака донесся голодный волчий вой, отдаваясь глухо в тайге, повисая в морозном воздухе. Старик вздрогнул, будто кто-то сильно встряхнул его. Он медленно, преодолевая боль во всем теле, повернулся в сторону ельника. Там ничего не было видно, не слышалось ни единого звука. Странно, что не подает голоса и Пакет, наверное где-то затаившийся поблизости.

«Ишь, волки как обнаглели, не боятся человека! А у меця, как на грех, под рукою нет ни ножа, ни палки, и бердана где-то лежит, не дотянуться. Но пока горит костер, зверь не подойдет», — думал старик, прислушиваясь и приглядываясь к лесу.

Вой не повторился. Но через минуту-другую до слуха старика долетел приближающийся хруст снега под осторожными шагами хищника. Все яснее, все ближе. Улукиткан физически ощутил на себе холодный гипнотизирующий волчий взгляд.

Старик оглянулся — нет ли хищника сзади? Посмотрел по сторонам. Вот он!.. С Арги на берег вышел матерый волк. Он приближался к человеку, будто уверенный в его беспомощности. Все ближе, все смелее. Улукиткан крикнул. Это у него получилось не очень громко и грозно, но хищник исчез. Старпк огляделся. «Не затаился ли где?..» И тут оп увидел Пакета. Собака сидела поодаль,

удивленно посматривала на хозяина. В ее взгляде и в позе не было ни тревоги, ни страха, и Улукиткан подумал, что не Пакета ли он принял за волка.

Костерок затухал. Старик глянул на лежащий сбоку сушняк и мысленно подсчитал, что хватит его на час. «С час, не больше я проживу». Он бережно разделил сушняк на две равные части и одну из них сразу положил на жар. Но решил, что это слишком расточительно, и половину убрал из костра. Пододвинулся ближе к огню. И снова задумался. Вся жизнь представилась ему непрерывной цепью сложных событий, через которые, как через бурный поток, он шел к этому последнему костру...

— Басиль!.. Ты слышишь, Басиль!.. Неужели ты не видишь отцовской беды?! — простонал он в полузабытьи. Но что это? Он не верил глазам.

...Из чащи вышел неторопливо его отец. Улукиткан увидел его худое, испещренное морщинами лицо, с омраченными горем глазами и с клинышком чуть седеющей бороденки. Своим обликом отец напоминал тяжелое прошлое Алданского нагорья. В ту пору по тайге прошел мор. Погибли олени, звери, птицы. Эвенки покидали обжитые предками места, уходили кто куда, захватив с собою только то, что могли унести на плечах. Больных, слабых, стариков бросали. Улукиткану тогда шел тринадцатый год. От того времени в его памяти запечатлелось стойбище, заваленное трупами животных, изможденные лица умирающих с голоду людей, гвалт разжиревшего воронья и вой потерявших хозяев собак. Улукиткан хорошо помнит поляну, с одинокой березкой посредине, с кучей сушняка, приготовленного для больного. На всю жизнь запомнился печальный взгляд отца, которым он прощался с уходящей навсегда от него семьей. Было это очень давно... С тех пор обновилась тайга, стерлись следы бедствий, но память сберегла живые картины той поры.

...Отец неслышными шагами приближался к нему. Под старенькой дошкой сгорбленный скелет. В руках по-

сох. Из глазных впадин холодный укоряющий взгляд устремлен на Улукиткана. Но сын не собирался вымаливать у отца прощение за уход семьи. Закон тайги и борьбы за существование отвергал всякую жалость, родственные чувства, сострадание. Но образ отца, так же как всех предков, для Улукиткана всегда был превыше всего, был его судьей и первым советчиком, Улукиткан никогда и ничем не опорочил памяти отца. Может, поэтому отец, явившись пред ним, ничего не сказал, только посмотрел на него. Исчез так же внезапно, как и появился...

Склонившись над горкой дотлевающих угольков, старик напрасно шарил вокруг руками — сушняка уже не было. Все, что могло гореть и лежало поблизости, было сожжено. Но Улукиткан хотел во что бы то ни стало дождаться Басиля. Он посмотрел на ельник, и ему показалось, что лесок отдалился от него и стал совсем недоступным. И все-таки рассудил: «Лучше в пути пропасть, чем замерзнуть у потухающего огнища».

Упираясь дрожащими руками в заснеженную землю, он приподнялся и тут увидел торчащий из-под снега край полоза. «Нарта!» — чуть не закричал обрадованно. Ведь нарта вся березовая, сухая. Ее хватит на большой костер. Потом о дровах побеспокоится Басиль. Только бы подтащить нарту к огню.

Напрягая все силы, он только на руках, волоча бесчувственные ноги, с передышками, прополз эти несколько шагов и ухватился заскорузлыми пальцами за нарту. Никакая сила не могла бы оторвать его от нарты. Он потянул ее на себя, дернул раз, другой, третий... Наконец сдвинул пристывшие к снегу полозья, нарта сдвинулась с места, развернулась и поползла следом за Улукитканом. И снова подумал о Басиле: «Где же ты, непутевый, тянешь свой след?..» Сын нужен был теперь Улукиткану лишь для того, чтобы сказать ему последние слова о заветах предков, которые, казалось Улукиткану, могут вместе с его смертью навсегда исчезнуть.

Изгибаясь и отталкиваясь всем телом, он пятился ползком назад и тянул за собою нарту. Добравшись до костра, старик сгреб закоченевшими руками, точно граблями, в кучу горящие угли, подтащил к ним передок нарты, чтобы пережечь на ней тальниковые вязки, скрепляющие полозья. Так он разобрал нарты. И вот жарко горит костер, тепло горячей волной окатывает старика. Он полулежит у огня, скрюченный, боясь пошевелиться, разбудить притихшую боль.

Улукиткан долго отогревает у костра руки, распрямляя пальцы, затем разматывает лохмотья на распухших ногах, ощупывает синие пятна на коже — то ли ожоги, то ли обморожение. Он пододвигает ступни к огню — ноги не чувствуют огня, пальцы на них не шевелятся. Улукиткан растирает ноги снегом, придвигает их к самому огню, снова растирает, но ничего не добивается.

Его слух улавливает гул старого леса. Он зарождается где-то далеко за Аргою, в безмолвии древних болот, и идет по вершинам деревьев, легонько качая стволы. Лес как будто прощается с Улукитканом, глухо и скорбно поет свою песню.

...Костерок опять догорает. Дрова почти кончились. Какой-то загадочный шорох возникает в тишине. Старик поднимает голову, глядит в ночной полумрак... Через поляну, увязая в глубоком снегу, бредет к нему правнук. Улукиткан, узнав его, тревожно думает: «С чего бы это он бредет один?» А правнук, не дойдя до костра, останавливается, снимает с головы ушанку, вытирает ею пот с лица и отчетливо выговаривает:

— Дедушка, не умирай, сделай лыжи, ты же обещал мне. Помнишь?!

Улукиткан ласково отвечает:

— Раз обещал, так сделаю. А ты меня не обманул насчет двоек да троек? Смотри, меня-то ладно, а других в жизни будешь обманывать — худым человеком прослывешь. — И старик потянулся к ребенку, что-

бы пригладить его мокрый чуб своей отяжелевшей рукою...

Огонь погасал. Но Улукиткан уже не думал о дровах — теперь это лежало вне его бытия. Тело охватывал смертный озноб. Только смутно почувствовал, как заскулил возле него Пакет.

Врожденная подозрительность все время держала собаку настороже, в отдалении от странно ведущего себя хозяина. Не было же никогда, чтобы хозяин в такой холод сидел полуголым на снегу, у маленького костра. А сейчас она почуяла, что хозяин уходит от нее навсегда. Она торопливо выбралась из ельника, боязливо подкралась к Улукиткану, обнюхала его спину, качнула приветливо пушистым хвостом. Но знакомые запахи уже оттеснялись чем-то страшным и чуждым. Пятясь задом, собака отступила. Потом осторожно зашла спереди, глянула старику в лицо с закрытыми глазами — и все поняла. Усевшись на снег возле старика, она печально смотрела на него и тихонько, жалобно скулила. Старик, не открывая глаз, на ощупь, дрожащей рукой подтащил Пакета поближе к себе и обнял. Его пальцы ощутили под шерстью собаки тепло, то живое тепло, которое уходило из его тела. Мгновенно воскрес в его памяти Арсен, ночная пурга над гольцом, убитый сокжой и отогретые в горячей брюшине зверя руки. Вспомнил Улукиткан и про своего учага, лежащего в ельнике. «Как не догадался привязать его ближе, эко дурной стал! А теперь не доползти до него, да и не хватит сил свалить его». Ему внезапно пришла мысль убить Пакета, а затем запустить руки в его теплое нутро. Освободив правую руку, он стал нащупывать на левом бедре нож. То ли инстинкт или что-то другое предупредило собаку об опасности. Она зло скосила глаза на старика, облизала дрогнувшие губы и, отталкиваясь передними лапами, попятилась, пытаясь высвободиться. Улукиткан повалился на собаку, телом подмял ее под себя. Пакет взвизгнул и за-

рычал. Улукиткан приподнялся и оттолкнул от себя собаку.

— Живи, дуреха! — с трудом шевеля омертвевшими губами, прошептал он.

Пакет, будто поняв все, успокоился, чуть отошел в сторонку и, присев, пристально, с прежней преданностью уставился на старика. Пар от горячего дыхания опушал белым мягким инеем морду Пакета.

А старику захотелось сказать собаке те сокровенные прощальные слова, что собирался он сказать сыну, людям. Но язык его уже не шевелился во рту. Да и те слова словно выветрились из головы. А Пакет, снова приблизившись, участливо прильнул к нему шерстистым боком. Это так растрогало старика, что он заплакал. Плакал без слез, морща изуродованное ожогами и стужей лицо и чуть слышно всхлипывая. Так они, прижимаясь друг к другу, полулежали у догорающего костра.

С реки донесся треск — где-то лопнула спайка настывающего льда. Улукиткан приподнял голову, насторожился, вслед за этим звуком ему послышался знакомый перебор копыт в быстром беге оленей, звон бубенцов на их шеях и даже голос Басиля, подбадривающий усталых животных. Но каким-то уголком затухающего сознания он понимал, что это ему только чудится, что уже поздно, никто и ничто не сможет уже отвратить приближающийся конец.

Улукиткан с трудом откинул назад руку, пошарил по снегу — не осталось ни сучочка. А в костре дотлевали последние головешки.

Преодолевая боль в плечевых суставах, почти положив ладони на тлеющие угли, он пытался отогреть скрюченные холодом пальцы.

Тут он увидел свои лыжи. Они стояли в двух шагах, прислоненные к лиственнице. «Как он не заметил их раньше? Эх, только бы добраться до них».

И он дополз до лиственницы, зажал лыжи между закостеневшими кистями рук и сунул их в угли.

Сухое еловое дерево разгорелось быстро. «А у меня же есть еще посох, — вспомнил старик. — Нет, посох нельзя жечь. Его надо не забыть взять с собой в последнюю дорогу. Никто же не знает, какой тропою уходят люди из жизни и как долго длится этот путь? А с посохом привычно и легче будет идти».

Посох был сейчас святыней для Улукиткана, связывающей его с жизнью. Много их сменил он за свою жизнь, скитаясь по родным и чужим, далеким тайгам и горам, марям и болотам. Посох сопровождал его в радостях и удачах, в бедах и несчастьях. Счастливые посохи после того как у них измочаливались концы, он бережно прятал в дуплах на вечное хранение, а те, что вели по недобрым путям, он засовывал под мох, в трясину — на гниение и исчезновение.

Луна, разворошив кружева туч, появилась на далеком горизонте. Посветлело в лесу. Всплыли холмы за Аргой, прояснились синие дали. Но все это совершалось уже помимо сознания старика, все дальше безвозвратно уходило от Улукиткана. «Горсточку бы тепла», — единственно о чем сейчас думал старик. Снова подумал про посох. «Может, не брать его с собою? А попользоваться лучше им, покуда жив» — так решив, он с трудом нащупал посох руками и пододвинул его к огню. Хотел пододвинуться к слабому огоньку и сам, но не смог. Закоченевшее тело, казалось, примерзло к земле. Улукиткан с обидой подумал, что отправляется к предкам в непотребном виде — босой, в жалких лохмотьях, тогда как для этого случая у него на стойбище давно приготовлены новые дошка, шапка, добротные олочи и штаны. «Что ж, пусть все это останется живым людям, — успокоенно подумал Улукиткан. — Но все-таки нехорошо лежать на снегу почти голым. Надо хотя бы укрыть свое тело снегом...»

И старик нашел в себе силы, чтобы скрюченными стужей руками разгрести возле себя снег...

Перед ним из ельника появился Арсен.

— Я пришел рассчитатся с тобою за то, что ты спас меня во время пурги на Становом. — Арсен сбросил с плеч большую котомку, достал из нее знакомый Улукиткану спальный мешок из гагачьего пуха, надел на старика свежее теплое белье, меховые чулки. Снял с себя рубашку, замотал ею голову старика, а затем бережно втолкал в мешок его непослушное тело...

Улукиткан чуть приподнял тяжелые веки. Ничто не нарушало молчания ночи. Луна была далекой и ненужной. Посох догорал в чуть тлевшем костре, не давая тепла. Улукиткану показалось, что он ясно слышит перезвон бубенцов. Старик пошевелился. «Да, это, конечно, Басиль. Я же говорил, что он не обманет...» Улукиткан открыл глаза. Узнал сына. И ожившими руками обхватил голову склонившегося над ним Басиля, прижал ее к своим губам.

— Я знал, что ты придешь, сын, чтобы проводить отца к предкам, — шептали заледеневшие губы старика.

Но видение исчезло. Померк в глазах Улукиткана последний отблеск света. Земля под ним вдруг потеплела и обмякла, принимая его остывающее тело в свое лоно. В последний раз он услышал гуд родного леса, крик ночной птицы, лай Пакета. Немигающими открытыми глазами напоследок он увидел под ногами тропу, взбегающую к знакомым вершинам, и стадо снежных баранов на уступе скалы, и расцветающий багульник — весь этот живой, неповторимый мир враз померк и ушел из сознания Улукиткана...

Смерть настигла его у погасшего костра, в снежной, им самим приготовленной могиле...

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

Имя Улукиткана было известно исследователям восточной окраины нашего материка и военным топографам задолго до революции. Одаренный талантом следопыта, уменьем превосходно ориентироваться на местности, он снискал себе славу отличного проводника. За свою долгую жизнь этот эвенк сопровождал многие экспедиции, ходил с ними труднейшими для того времени маршрутами.

Когда я вспоминаю Улукиткана, передо мной встает человек большой души, завидного мужества, совершивший не один подвиг во имя долга. Шесть лет он был проводником нашей экспедиции, когда мы работали над созданием карты районов, прилегающих к Охотскому морю. Для меня прожитые вместе с ним годы были академией. Старик открыл мне огромный мир природы, которую он очень любил, научил меня понимать ее. Но главным достоинством Улукиткана была человечность, которую он целомудренно пронес через девяностолетнюю жизнь.

Трудно переоценить его заслуги. Сколько он открыл проходов через малодоступные хребты приохотского края, сколько проложил троп по заболоченной тундре, по тайге! Еще много десятилетий ими будут пользоваться изыскатели, пастухи, кочующие в тех местах со стадами колхозных оленей. Геодезистам и топографам благодаря Улукиткану удалось сохранить на карте этого района исконные названия рек, озер, хребтов.

Еще при жизни своей он стал одним из главных героев моих книг «Тропою испытаний» и «Смерть меня подождет». Но у меня не хватило литературных способностей изобразить этого человека со всей полнотой.

Трагическая гибель Улукиткана потрясла всех, кто знал этого мудрого эвенка. Его имя, его беспримерные подвиги в тайге, его жизнь заслуживали самой благодарной памяти. Я счел своим долгом написать об Улукиткане повесть, поставить памятник на могиле этого великого труженика и сделать этот памятник своими руками.

В июне 1964 года я отправился в далекий поселок Бомнак, где на берегу Зеи был похоронен Улукиткан. На его могиле я соорудил железобетонный четырехгранный тур, какне строят геодезисты на горных пиках. В него были вмонтированы три чугунных плиты с надписями.

На правой стороне тура:

«С тобой, Улукиткан, геодезисты и топографы штурмовали последние белые пятна на карте нашей Родины».

На лицевой стороне: «Улукиткан. 1871—1963».

На левой стороне: «Тебе, Улукиткан, были доступны тайны природы, ты был великим следопытом, учителем, другом».

Чугунная плита прикрывает могильный холм. На ней слова:

«МАТЬ ДАЕТ ЖИЗНЬ, ГОДЫ — МУДРОСТЬ. Улукиткан».

Через два года закончится строительство Зейской ГЭС. Море покроет огромное пространство долины.

Под ним исчезнет и место гибели Улукиткана.

Но памятник ему, поставленный на высоком берегу, будет виден отовсюду.

Отсюда открывается вид на заречную тайгу, без края и границ, которую так знал и любил этот изумительный человек!

Краснодар.
Октябрь 1967 г.

«Кто ты?» — мысленно обращается читатель к автору полюбившейся ему книги.

О замечательных людях прошлого написано много. О наших современниках известно значительно меньше. Есть среди них такие, о которых нельзя не знать. К таким людям принадлежит Григорий Анисимович Федосеев, автор книг «Мы идем по Восточному Саяну», «В тисках Джугдыра», «Тропою испытаний», «Смерть меня подождет», «Злой дух Ямбуя», «Последний костер».

В 1959 году в Новосибирске отмечали шестидесятилетие Г. А. Федосеева. Со всех концов страны спешили к Новосибирску друзья писателя, герои его книг.

Подтянутый, молодцеватый, с чуть посеребренными висками, юбиляр растерянно заморгал глазами, когда увидел заполненный зал, друзей, которым приходилось добираться до железной дороги на оленях, на собаках, шагать пешком. Ему, около тридцати лет руководившему геодезическими экспедициями, прошедшему сотни километров в предгорьях Кавказа, по Восточному Саяну, по самым недоступным местам у Охотского моря, по Хибинской тундре и Алданскому нагорью, пришлось собрать все свое мужество, чтобы не дрогнул голос.

Долго не смолкали в ту ночь дружеские приветствия, торжественные тосты, звенели бокалы...

Творческая судьба писателя несколько необычна. Г. А. Федосеев родился 19 января 1899 года в станице Кардоникской Ставропольского края, а всю жизнь писал о Сибири, Дальнем Востоке, Крайнем Севере. Первую книгу — «Таежные встречи» — опубликовал, когда исполнилось пятьдесят лет. Мировую известность приобрел после шестидесятилетия.

Отца Григорий Анисимович не помнил. Его мать, Анна Васильевна, одна вырастила сына и дочь.

Изо дня в день мальчик любовался цепью снежных гор Кавказского хребта; едва научившись ходить, карабкался по скалам. Став постарше, пробирался в темные пещеры, глубокие ущелья, двенадцати лет ухитрился подняться на Аксуанский ледник. Тринадцати лет был заядлым охотником.

«Господи! За что же мне такое наказание! У людей дети как дети, а тут, поди же, охотник выродился!.. — говорила его мать. — Помни, сынок, в жизнь уйдешь с ружьем — не будет из тебя человека. Охота до добра не доведет. Вместо того чтобы к земле приучаться, как другие, носит тебя лихоманка по лесу. Ищешь ты непотерянное!..»

Навсегда полюбился Федосееву «угрюмый лес его детства». Всю жизнь манили горы, бурные потоки, суровые картины природы. «Я не люблю спокойное море, — признавался писатель, — дремлющую на солнце тайгу, отполированное синевой небо... Радуюсь, когда надо мною воет пурга... С какой-то особой доверчивостью отношусь к дождю. Люблю, когда он в сумрачные вечера окатывает прохладой... цокает невидимыми копытами... по листьям, по камням, по полотняной крыше палатки...»

Истоки высокой нравственной силы всего написанного Гр. Федосеевым кроются в его детстве.

Мать писателя, Анна Васильевна Федосеева, выросшая в крестьянской семье, зарабатывала шитьем, трудилась упорно, чтобы дать образование детям.

Когда сыну исполнилось восемь лет, она переехала в Баталпашинск (ныне Черкесск). Отдала его в гимназию.

Мальчик старался помочь матери. Поступив на сыроварню, заработал деньги, чтобы внести плату за учение. В старших классах занимался с отстающими учениками, сам всегда был на лучшем счету.

Проводя лето в родной станице, всем существом своим юноша Федосеев был близок к природе. Заводила и во-

жак во всех ребячьих играх, походах по горам, он рано ощутил ответственность за тех, кто доверился ему.

Окончив гимназию, Федосеев поступает в Краснодарский политехнический институт, становится геодезистом. Работает сначала прорабом, потом начальником партии, а большую часть своей жизни — начальником геодезических экспедиций.

Как будто бы странно, что один из самых отважных людей нашего времени, каким, несомненно, был Григорий Анисимович Федосеев, осмелился послать в «Сибирские огни» труд многих лет лишь в 1949 году, после совещания бывалых людей. К печатному слову будущий писатель относился с особым уважением.

«Первые наброски записок «Мы идем по Восточному Саяну» мне были переданы редакцией журнала «Сибирские огни», — вспоминает Кондратий Урманов. — Покойный Савва Елизарович Кожевников порекомендовал мне прочитать эти наброски, связаться с автором и помочь ему литературно оформить его записки. Так я почти каждую неделю получал от Федосеева частями его дневниковые записи — главы будущей книги.

Нелегко было работать над рукописью, автор которой находился за тысячи километров от города, где-то на берегах Охотского моря. А записки, наброски, и все интересней, шли и шли оттуда, я уже не видел конца книге. За зиму отобрал из рукописи двенадцать самостоятельных рассказов, хорошо рисующих жизнь и быт таежных людей и природу далеких окраин Сибири, которые и составили книгу «Таежные встречи»... Завершив работу в Геодезическом управлении и выйдя на пенсию, Григорий Анисимович вплотную сел за писательский стол, и скоро все его друзья — литераторы и геодезисты, читатели и критики — увидели, что в литературу пришел совершенно оригинальный и талантливый писатель, исследователь и

художник, по-своему видящий мир и отображающий его в своих произведениях...»

Так началась литературная деятельность Федосеева.

Основа всего написанного Федосеевым — дневники, которые он вел больше тридцати лет. Многие герои писателя живы до сих пор и могут подтвердить, что все рассказанное Федосеевым — правда. Он не придумывал имена и фамилии, сохранил подлинные географические названия. Не расставаясь с фотоаппаратом, снимал наиболее примечательные места, героев своих будущих книг. Многих, в том числе и самого автора, мы видим в рабочей обстановке — то они навьючивают оленей, то подымают на вершину строительный материал, то подают по цепочке камни для укрепления пирамиды, то отдыхают на привале.

Почти ко всему, написанному Федосеевым, относится определение, которое он дал своей «главной книге» — «Смерть меня подождет». «Это не роман и не повесть, а документальный рассказ о подвиге советских людей в борьбе с безжалостной природой, об их удачах и неудачах, тревогах и радостях. И наконец, о тех, кто ценой своей жизни заплатил за открытия на карте нашей Родины».

С героями произведений Гр. Федосеева — Кириллом Лебедевым, Трофимом Пугачевым, Василием Мищенко — читатель познакомился по книге «Мы идем по Восточному Саяну»; Улукиткан, Трофим Королев, Плоткин, Лиханов, Николай, Афанасий, Геннадий — герои «Смерть меня подождет» — впервые появились в «В тисках Джугдыра», так же как колхозный смолокур Гурьяныч и его внук Пашка — герои повести «Пашка из Медвежьего лога».

Документальность — отличительная черта всего написанного Федосеевым. Но документальность его первых

и последних книг разная. И понимает ее автор в «Последнем костре» по-иному, чем в «Мы идем по Восточному Саяну» и в «В тисках Джугдыра».

В наши дни мемуары, очерки, документальные повести читаются нарасхват. Тяга к документальности вызвана стремлением узнать правду из первых рук, правду не приукрашенную, не завуалированную, которую можно проверить своим опытом, сопоставить с рассказами верных людей. Читатель всегда благодарен писателю за точные приметы времени, радуется, когда узнает полюбившиеся места, встречает близких ему по духу людей.

Федосееву, когда он начинал писать, хотелось рассказать все именно так, как было. Долго не решался на домысел, не сразу постиг, что мало простого и точного воспроизведения происходящего.

Уже после того как были опубликованы его первые книги, писатель стал думать о композиции, фабуле, сюжете, типизации изображаемого.

Возможно, если бы Федосеев не вел дневников, он бы не стал писателем. Но дневники — и сила его, и слабость. Вел их не писатель, а начальник экспедиций. Освободиться от делового тона ему было нелегко. Он писал непринужденно о природе, о повадках лесных зверей. И никак не мог преодолеть скованности при изображении товарищей по экспедиции, имена которых считал себя не вправе изменить.

В книгах «Тропою испытаний» и «Смерть меня подождет» Федосеев начинает по-писательски распоряжаться материалом, извлекать из дневников драгоценные живописные детали, смело домысливать недостающее. Главным героем книги «Тропою испытаний» стал Улукиткан, вокруг него концентрируются происходящие события. Судьба Трофима Королева стала основой повести «Смерть меня подождет». Включенные в поток событий, Василий Мищенко, Кирилл Лебедев, радист Геннадий, проводники Николай, Афанасий обрели индивидуальность.

Все, что вышло из-под пера Федосеева, пронизано любовью к людям. Его герои мужественны и добры, грубова́ты и сердечны, устремлены к высоким идеалам и непритязательны. Их объединяет благородная цель, чувство ответственности за порученное дело, за судьбу товарища. Спасая товарищей, погиб в порогах Кизира один из наиболее отважных членов экспедиции — Мошков. Неоднократно подвергает себя смертельной опасности, предотвращая надвигающуюся беду, проводник экспедиции по самым недоступным местам охотского побережья старый эвенк Улукиткан. Рискуя жизнью, спасли товарищи Королева. Им всем помогает жить и работать сознание, что о них заботятся, что их не покинут, если случится беда. И не раз, когда, казалось бы, неминуема катастрофа, перечеркивают синее небо белые пушистые следы разыскивающих экспедицию самолетов, врывается в застывшую над тайгой тишину гул вертолета.

Писатель убежден, что человечность начинается с заботы о том, кто нуждается в помощи. Пусть это будет заблудившийся в тайге человек, бездомный щенок, раненый дикий зверь, отбившийся от стада олененок. Все живое достойно человеческого участия. Такова одна из главных заповедей Федосеева.

Высокой человечностью и душевной чистотой привлекает любимый герой Федосеева — Улукиткан.

Многие критики сравнивали Улукиткана с Дерсу Узала, героем книги В. Арсеньева. Оба они правдивы, искренни, непосредственны, добры и бескорыстны. Оба близки суровой и прекрасной природе Дальневосточного края.

Теперь, когда появилась повесть Гр. Федосеева «Последний костер», есть все основания сказать, что Федосеев пошел своим путем.

Немало бед обрушилось на Улукиткана в молодости. Но несчастья не сломили, не озлобили, а закалили его. Часто встречаясь с русскими людьми, выросшими в со-

ветское время, Улукиткан охотно сопровождал разные экспедиции. Узнав Федосеева, он стал его верным другом, постоянным проводником. При первом же знакомстве старик вызвал глубокую симпатию: «Он стоял перед нами бесхитростный, маленький, полный покорности. Его темно-серые глаза, прятавшиеся глубоко за узкими разрезами век и, вероятно, видевшие многое за долгие годы жизни, теплились неподдельной добротой. Что-то подкупающее было в его манере держаться с незнакомыми людьми и в том спокойствии, с которым он встретил нас».

Не искажая, подобно Улукиткану слова, Федосеев так передает речь героя, что в ней отражаются его характер, его манера мыслить, сочетая мудрость с наивностью. «Человек в тайге блудит, а след за ним ходит», — говорит Улукиткан. «Человек мало живет, но постоянно меняется: то маленький, то большой, то старый, а скалы и горы живут долго и всегда одинаковые». «От крепкого чая, что от доброго слова, сердце мякнет». «Человеку даны ноги, чтобы он долго не сидел на одном месте».

Авторы документальных произведений обычно очень осторожны при изображении того, о чем думает их герой. Федосеев, прекрасно понимая каждое движение мысли своего героя, разрешил себе приоткрыть, что чувствовал и думал Улукиткан, лишь в «Последнем костре», после гибели старика.

С не менее глубоким проникновением в психологию героя написан Трофим Королев. Проснувшись как-то среди ночи, Федосеев увидел парня (это и был Трофим Королев) с ножом в руках. Он разрезал палатку и приглядывался, чем бы поживиться. Федосеев плеснул в лицо парня из подвернувшейся под руку чернильницы. Встретив на следующий день на базаре худущего парня

с чернильными пятнами на лице и узнав в нем ночного гостя, Григорий Анисимович захотел помочь ему. И он сумел убедить Трофима бросить воровскую шайку, взял его на работу в геодезическую партию.

Трофим Королев стал дорог Федосееву как родной сын.

«Моя мать знала о Трофиме из писем, и он не был для нее безразличен, — вспоминает писатель. — Когда же мы приехали и она увидела его, загорелась к этому юноше настоящей материнской любовью... За обедом лучший кусок положит, и горбушку принесет, и сливок холодных, и початок молодой сварит — все для него, как для самого младшего сына. Парень, бывало, уснет, а она усядется у его изголовья, наденет очки и начнет штопать носки, белье, да так и задремлет».

Факты из биографии Королева стали основой драматически развивающегося сюжета в книге «Смерть меня подождет». Писателя не столько занимает прошлое Королева (о нем говорится бегло), сколько настоящее мужественного, решительного человека, надежного товарища, пытливого исследователя. Он из тех людей, про которых говорил Улукиткан:

«Когда ты хочешь испытать друга, берите с ним котомки, посохи и отправляйтесь в дальнюю дорогу, по самой трудной тропе. Если по пути встретятся голод, болезни, разные неудачи и вы оба дойдете до конца, верь ему, он твой друг!»

Одна из особенностей дарования Федосеева — умение писать от первого лица, неизменно оставаясь в тени. Он восторгается товарищами, которые совершают подвиги, одолевают, казалось бы, немыслимые препятствия. О себе же говорит между прочим. Остается догадываться, что он руководил самыми опасными переходами, поддерживал бодрость, когда было от чего приуныть. Не только к ге-

роям его книг, но и к нему самому относятся слова: «Много раз наша жизнь висела на волоске, и нас выручали не случайности, не счастливая судьба, а упрямство и воля к победе».

Так было, когда он сам раскачивался над пропастью на веревочной лестнице, подымаясь на Алгычанский пик, чтобы спасти Королева; когда заблудился, решив спрямить путь через марь, торопясь к ослепшему Улукиткану; когда подавал сигналы кружившему над рекой самолету, стоя на обломках плота, где пластом лежали его спутники... Мало ли еще было случаев, когда жизнь вожака землепроходцев висела на волоске... А он, думая о людях, которые доверили ему свои жизни, напрягал все силы, чтобы помочь им.

При содействии Федосеева нашли свое место в жизни Кирилл Лебедев, Трофим Пугачев, Прокопий Днепровский, Михаил Бурмакин, Василий Мищенко и еще многие и многие, имена которых мы встречаем в его книгах и с кем столкнулся он на своем жизненном пути.

Человечность, отзывчивость, сердечность — самые примечательные черты Федосеева. Потому так стремились попасть к нему в экспедиции, так гордились знакомством с ним, так много у него было друзей.

Не связаны непосредственно с биографией автора, хотя тоже написаны от первого лица, лишь две его книги: «Пашка из Медвежьего лога» (1964 г.) и «Злой дух Ямбуя» (1966 г.). С внуком смолокура Гурьяныча, пытливым озорным мальчуганом Пашкой, мы встречались еще в книге «В тисках Джугдыра». Пашка помог отряду Макаровой достать тонкие паутинные нити для теодолита. Историю Пашки писатель развил в повести для детей, написанной занимательно, с большим тактом и художественным вкусом.

В «Злом духе Ямбуя» Гр. Федосеев проявил себя как мастер острого, стремительно развивающегося сюжета. До последних страниц не догадываешься, кто же погу-

бил таинственно исчезнувших геодезистов. Тайна медведя-людоеда открылась неожиданно. Не менее неожиданно и то, что старуха Лангара и во всем покорный ей глухой Карарбах согласились сопровождать русских в обитель злого духа Харги, приблизиться к которой эвенки не решались никогда.

На новой основе развиваются в «Злом духе Ямбуя» занимающие Федосеева на протяжении всего творчества идеи о человечности, о дружбе, о воспитании мужества суровостью и требовательностью. Опять и опять повторяет писатель, что природа облагораживает человека и нужно беречь ее.

Элегическая повесть «Последний костер», с многочисленными лирическими отступлениями о жизни и смерти, написана совсем в другой тональности, чем остальные произведения Федосеева. Наступила лучшая в его жизни пора, когда он мог все свое время отдать литературному труду.

Каждый день писатель подымался в пять утра, садился за рукопись. Трудился упорно, долго. Просиживал по двенадцати, а то и по шестнадцати часов в сутки. Писал и переписывал — «перелагал», как он говорил, страницу за страницей.

Слава писателя росла. Книги его печатались большими тиражами, неоднократно переиздавались, переводились за рубежом. Роскошные иллюстрированные издания «В тисках Джугдыра», «Тропою испытаний», «Смерть меня подождет», «Злой дух Ямбуя» вышли в Лондоне, Париже, Лейпциге, Берлине, Праге.

В 1958 году Г. А. Федосеев переезжает в Краснодар. «Ближе к солнцу», — шутил он, когда спрашивали, как же он решился изменить Сибири. В Краснодаре его полюбили, выбрали председателем правления писательской организации, депутатом краевого Совета.

Летом Федосеев обычно навещал своих сибирских друзей. Вновь несли его самолеты в тундру, к Баренцеву морю, на охотское побережье. Несколько раз побывал он в Саянах, на Крайнем Севере.

Тяжелым ударом для Федосеева была трагическая гибель Улукиткана. Получив горестное известие, Г. А. Федосеев вылетел на родину своего друга-проводника. Добился, чтобы прах его перенесли из глухой тайги на высокий берег Зеи, к поселку Бомнак. Своими руками поставил ему памятник — четырехгранный тур, подобный тем, которые ставят геодезисты на горных пиках. На чугунной плите написал изречение Улукиткана: «Мать дает жизнь, годы — мудрость».

Многим памятна фотография Федосеева у могилы Улукиткана. Может, тогда и зародился у писателя замысел «Последнего костра». Первый отрывок из повести, озаглавленный «Исповедь у последнего костра», был опубликован в ежемесячнике «Кубань» в 1967 году с эпиграфом: «Борись и даже после смерти борись!» Эта мысль стала основой повести. В окончательном варианте она выражена точнее: «Борись и, умирая, борись!»

Костер для эвенков — мера жизни. Глядя на огонь, Улукиткан думает: сколько ему еще осталось костров? Последний костер — символ расставания. Люди, долго работавшие в лесу, перед разлукой любят посидеть, помолчать у костра.

Трудно покидать любимые места. Особенно трудно, когда полагаешь, что видишь их в последний раз. Думая об Улукиткане, о предстоящем свидании с ним, Федосеев писал: «...уже не бывать мне больше в этих суровых нагорьях, не бродить по здешней тайге, не купаться в ледяных потоках, не скрадывать снежных баранов. И неодолимо захотелось вернуться туда, забраться на одну из вершин великого водораздела, еще раз с орлиной высоты взглянуть на безбрежное царство тайги и болот, комариного гуда и птичьего многоголосья, где шесть

лет и зим скитались мы с Улукитканом... Мне хотелось поклониться могилам товарищей, кому не суждено было вернуться с нами из этих безлюдных мест. Их много. Они спят на Шантарских островах, на Селиткане, под гольцами Сага и Ямбуй, на безымянных холмах Алданского нагорья. Но они увековечили себя в славе советских геодезистов и топографов и на необъятной карте Родины, нанося на нее дотоле не изведанные и не меренные пространства нашей земли».

Последние минуты замерзающий Улукиткан провел у костра, продолжая бороться за свою жизнь.

Работая над повестью об этом благородном, достойном долгой памяти человеке, писатель все чаще вспоминал товарищей, которые своей жизнью заплатили за открытия на карте нашей Родины.

Замысел повести расширился в процессе работы над ней: «Исповедь у последнего костра» о гибели Улукиткана стала второй частью повести «Последний костер», где описано, как героически борются за свое право закончить исследование на гольце в морозную ночь астрономы Вагина и Тишкин, чудом уцелел сорвавшийся со скалы Дубков, ради встречи с другом отказывается от заслуженного отдыха закончивший работу начальник экспедиции. Рассказано много нового о молодых годах Улукиткана, о его семье, о детях, о его неизменном человеколюбии и самоотверженности, о благородстве и стойкости наших современников — советских изыскателей.

Звездная ветреная ночь у астрономов как бы предваряет трагедию Улукиткана.

Палатка, притулившаяся в заветрии, вырубленная на скале надпись: «Здесь в сентябре 1953 года замерзли астрономы Вагина и Тишкин», голые пики, неистовый студеный ветер, сшибающий с ног, — такова обстановка, в которой трудятся молодые советские ученые. Ни на минуту у читателя не возникает мысли, что писатель на-

гнетает ужасы. Нет, все просто и естественно. Понятно, что как только по черному небу выстлался запорошенный след Млечного Пути, астрономы вышли на голец. И более трех часов, пока не окаменели пальцы, пытались поймать минуту, чтобы завершить наблюдения.

Мы, знающие Улукиткана, не удивляемся, что в такую непогодь он появляется в палатке с вязанкой дров. Сетует, что постарел, не мог больше захватить, оставил часть ноши у подножия гольца.

В таких условиях встретились последний раз Улукиткан и посвятивший ему немало прекрасных страниц писатель. Подобные люди выживают, потому что обладают несокрушимой волей, видят и ясную цель.

«В последнем костре» Федосеев применил в своей писательской практике науку Улукиткана о том, как читать книгу леса. Безмолвные детали как бы обрели дар речи. Обгорелые края палатки, обуглившаяся домашняя утварь, жалкие остатки поленницы, где хранились наколотые дрова, рождают в воображении писателя картину.

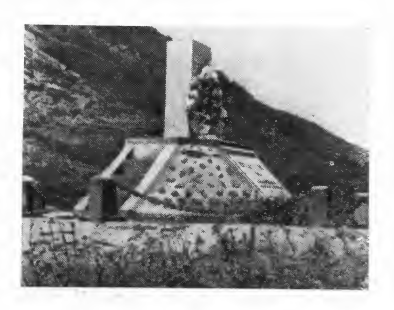
Тлеющая телогрейка, темные пятна на подтаявшем снегу, обгорелые старческие руки рассказали писателю об отчаянном сопротивлении Улукиткана в борьбе за жизнь.

Если заговорили детали, разве можно утаить мысли, которые рождаются при воспоминаниях о встречах, разговорах со стариком? И писатель впервые свободно пишет о том, что думает и чувствует Улукиткан.

Новая повесть об Улукиткане стала «последним костром» и вершиной творчества Г. А. Федосеева. Она была опубликована посмертно... 29 июня 1968 года Григорий Анисимович скоропостижно скончался, не дожив полгода до своего семидесятилетия. До последнего часа он жил полнокровной творческой жизнью, был увлечен замыслами новых книг.



У памятника Улукиткану.
Федосеев и проводник-эвенк Н. Лиханов.



Памятник Г. А. Федосееву в Восточном Саяне
под пиком Грандиозным.

Не раз слышала я добрые слова о Григории Анисимовиче Федосееве от героев его книг.

Летом 1957 года на Алтае я встретилась с Кириллом Родионовичем Лебедевым, тем самым бесстрашным Лебедевым, который славился своим умением преодолевать самые опасные перекаты, самые неприступные дороги. Приехав в Шаблинский маралосовхоз, я узнала, что Лебедев на днях будет перегонять лошадей из одной партии в другую и заедет к себе домой, и отправилась к нему.

На высоком крыльце небольшого деревянного домика меня встретила молодая широкоплечая сибирячка, провела в горницу, застланную, по сибирскому обычаю, по-

лосатыми половиками, предложила присесть к покрытому вышитой скатертью столу.

Она сказала, что Кирилл Родионович должен быть со дня на день, и предложила остаться у них ночевать. Сделала она это так радушно, что захотелось и с ней познакомиться поближе. Выяснилось, что Анна Михайловна, дочка Михаила Бурмакина, того силача, который, расседлав кобылу Маркизу, увязшую в болоте, взвалил на себя весь груз вместе с седлом, а потом «выволок Маркизу вместе с валежником и болотной тиной из болота». Мне показалось, что Анна Михайловна похожа на отца. Такая она была крепкая, «словно сбитая», как говорят в Сибири, такая доброта светилась в ее глазах.

Анна Михайловна хорошо помнила Г. А. Федосеева, сердечно говорила о нем.

Когда поздним вечером распахнулась дверь и на пороге появился высокий, тонкий, загоревший и, по виду, если бы не глубокие морщины, молодой человек, я сразу догадалась, что это Кирилл Родионович.

Постепенно мы разговорились. Дороже всего, видимо, было Лебедеву, что Федосеев никогда и ничем не выделялся из отряда.

«Остановимся, начнет лошадей развьючивать, палатку натягивать, костер разжигать. Ни разу его поняжка не была легче, чем наша. Мы удивлялись, что он такой заводной. Мы поедим, попьем чайку, развалимся у костра, а он идет на сопку, чтобы оглядеться, наметить на завтра маршрут. Вернется, подложит дровишек в костер, вытаскивает тетрадку, кропает свой дневник». Вспомнил Лебедев случай, когда однажды на перекате перевернулась лодка, в которой они шли на рыбалку. «Григорий Анисимович вывалился из нее, промок до нитки, но вернуться на табор, чтобы обсушиться, решительно отказался».

О невероятно трудном переходе по Мае, которому в книге «Смерть меня подождет» посвящены замечательные



Члены клуба «Баджал» авиационного завода имени Ю. А. Гагарина, г. Комсомольск-на-Амуре, у обелиска Г. А. Федосееву.

страницы, Лебедев сказал очень коротко: «Впервые я услышал от Григория Анисимовича слова «надо отдохнуть!», когда мы наконец приплыли по реке Мае к сухому месту. Очень трудный это был переход. Оленей по пути бросили. Плыли на плотах, шли по болотам, не останавливаясь, не попадало сухого места. Обезножели от усталости и сырости».

Рассказывал Лебедев и о том, как однажды, заметив, что его товарищи приуныли, развеселил их Федосеев, воспроизведя сценку с козлом Борькой, описанную впоследствии в повести «Пашка из Медвежьего лога».



Обелиск — трехгранная пирамида, установленная на перевале Казенном (хребет Джугджур).
На пластине — портрет Г. А. Федосеева (чеканка по меди).

Смеялся Кирилл Родионович, вспоминая медведя, которого фотографировал писатель в разных позах в то время, как собаки за «брючонки возили».

Осенью 1969 года я познакомилась в Береговой под Новосибирском с соратником Федосеева по его походам, инженером Михаилом Михайловичем Куцым. Впервые встретились они на Кольском полуострове больше тридцати лет назад, работали вместе на Кавказе, в Саянах, на Дальнем Востоке.

Михаил Михайлович Куцый рассказал мне, как был воздвигнут друзьями писателя, героями его книг памятник Г. А. Федосееву у пика Грандиозного.

Лучший рекогносцировщик — Кирилл Лебедев вскоре после кончины Федосеева отправился в Саяны. Больше месяца верхом на коне исследовал окрестности пика Грандиозного, выбирая место для памятника. Летом 1969 года на перевал Иден, расположенный на водоразделе рек Иден и Малая Кишта (в горной системе Восточного Саяна), названный ныне перевалом Федосеева, через который проходят туристские тропы, были доставлены на вертолете необходимые материалы. Над сооружением памятника на большой высоте трудились друзья писателя: Михаил Куцый, Кирилл Лебедев, Трофим Пугачев.

Незадолго до того, как земляные работы закончились, раздался ружейный залп. По долине растянулась цепочка туристов с рюкзаками за плечами. Это были студенты из Красноярска. Их вел преподаватель Красноярского пединститута М. Ф. Величко, который разрабатывал маршрут по любимой им книге «Мы идем по Восточному Саяну». Туристы помогали разровнять площадку, подняли от озера дерн с расцветшими желтыми лилиями и огненными сибирскими жарками, обложили дерном подножие памятника.

Туристские костры у перевала, где поставлен памят-

ник Г. А. Федосееву, долго будут указывать путь тем, кто отправится в поход по Восточному Саяну.

В конце июля, в пасмурный ветреный день работа была завершена. На перевале Иден поднялся на восьмигранном цементно-каменном основании необычайный обелиск из алюминиевого сплава, похожий на тур, который поставил Григорий Анисимович на могиле Улукиткана. На одной из металлических плит пьедестала отлиты даты рождения и кончины Г. А. Федосеева: 1899—1968. На другой — слова писателя.

«Карта...

Как просто на нее смотреть и как непросто, порой мучительно создавать ее!..

В борьбе за покорение природы еще много придется пережить горестных минут тем, кому суждено вступить с нею в единоборство. Но что значат трудности, если путь наш ведет к коммунизму, к светлой жизни человечества».

На рассвете возле обелиска собрались жители окрестных поселков, вдова и друзья писателя, прибывшие накануне на вертолете. Коротко было прощание с вожаком землепроходцев наших дней. Урну с прахом писателя замуровали в постаменте (такую же урну захоронили в Краснодаре). Посидели у костра, вспомнили Улукиткана, поговорили о дружбе. Полюбовались на крутые откосы гольцов и просторную долину, светлое озеро, у которого стояла в 1938 году палатка геодезистов. Вспомнили поход по Восточному Саяну.

Всем своим творчеством Григорий Анисимович Федосеев боролся за высокие идеалы, учил мужеству, правдивости, искренности, преданности Родине.

«Борись и, умирая, борись!» — говорил старый Уйбан. Эти слова писатель взял для эпиграфа первой публикации «Последнего костра». Книги и труды ушедшего из жизни человека продолжают его борьбу.

Галина Колесникова

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 2847

Григорий Анисимович Федосеев
ПОСЛЕДНИЙ КОСТЕР

Редактор **Н. Лаграиж**
Художествеииый редактор **Н. Печиииова**
Техиичесний редаитор **Н. Носова**
Корректор **В. Авдеева**

Сдано в набор 27.08.80. Подписаио в печать 21.01.81. А00624. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографсиая № 2. Гарнитура «Обыииовеииая иовая». Печать высоиая. Услови. печ. л. 10,5. Учетно-изд. л. 11,0. Тираж 100 000 эиз. Цеиа 75 иоп. Заказ 1300.

Типография ордеиа Трудового Красного Зиамеии издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевсиая, 21.

75 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ